

СКОТТ В.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ЭДИНБУРГСКАЯ ТЕМНИЦА

Рассказы трактирщика

Вальтер Скотт

Эдинбургская темница

«Алгоритм»

1818

ББК 84(4Вл)

Скотт В.

Эдинбургская темница / В. Скотт — «Алгоритм»,
1818 — (Рассказы трактирщика)

ISBN 978-5-486-02524-2

Вальтер Скотт (1771–1832) – английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. С необычайной живостью и красочностью Скотт изобразил историческое прошлое от Средневековья до конца XVIII в., воскресив обстановку, быт и нравы прошедших времен. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета. В этом томе публикуется роман «Эдинбургская темница», относящийся к числу «шотландских» романов В. Скотта, события которых разворачиваются в эпоху англо-шотландской смуты. Действие данного романа происходит в середине XVIII в. Особый интерес в нем представляет образ простой крестьянской девушки Джини Динс, воплотившей, по мысли автора, лучшие черты шотландского национального характера – совесть, живой ум, неподкупную честность, находчивость, непоколебимую волю и природную энергию.

ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-02524-2

© Скотт В., 1818

© Алгоритм, 1818

Содержание

Глава I	6
Глава II	16
Глава III	19
Глава IV	23
Глава V	28
Глава VI	33
Глава VII	38
Глава VIII	43
Глава IX	48
Глава X	55
Глава XI	62
Глава XII	66
Глава XIII	76
Глава XIV	82
Глава XV	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87
Комментарии	

Вальтер Скотт

Эдинбургская темница

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2008

* * *

Глава I

Вводная

*По склону Ашборн мчится в клубах пыли
С шестеркой пассажиров Дерби-дилли¹.*

Фрир

[1]

Ни в чем не наблюдаем мы столь быстрых перемен, как в способах доставки почты и пассажиров из одной части Шотландии в другую.

Каких-нибудь двадцать – тридцать лет назад, по свидетельству многих заслуживающих доверия старожилков, почта из столицы Шотландии во все ее концы доставлялась на маленькой жалкой повозке, с трудом делавшей тридцать миль *per diem*². Да что Шотландия! Всего лишь восемьдесят лет назад не лучше обстояло дело и у нашей более богатой соседки – Англии. Недаром медлительность почтовых карет осмеяна Филдингом^[2] в романе «Том Джонс»^[3] и Фаркером^[4] в небольшом фарсе под названием «Почтовая карета». По утверждению последнего, самые щедрые чаевые не могли заставить кучера ускорить прибытие в таверну «Бычья голова» более чем на полчаса.

Ныне эти старые, медленные, но зато безопасные способы передвижения неведомы ни у нас, ни в Англии; по самым глухим окраинам Англии наперегонки мчатся дилижансы и мальпосты. А через наше село ежедневно проносятся четыре дилижанса и три почтовых кареты с вооруженными берейторами в красных ливреях, соперничая шумом и блеском с изобретением прославленного тирана древности:

Неподражаемый пламень небес и тучи – безумец! –
Медью и стуком хотел заменить рогагогих он ко́ней!^{[3][5]}

В довершение сходства и в назидание дерзостным возницам случается, что судьба этих удалых соперников Салмоней^[6] завершается столь же плачевно, как и судьба их прототипа. Вот тогда-то пассажиры как внутри кареты, так и на империале имеют основания сожалеть о прежних медленных и надежных «Летучих каретах», которые по сравнению с колесницами мистера Палмера^[7] столь мало заслуживали свое название. Прежний экипаж неспешно заваливался набок, как затопляемый корабль, постепенно заполняющийся водою, тогда как нынешний разлетается вдребезги, подобно тому же судну, наскочившему на рифы, или, вернее, пушечному ядру, завершившему свой путь по воздуху. Покойный мистер Пеннант – большой оригинал и непримиримый противник современной быстрой езды – составил, как мне говорили, устрашающий список подобных происшествий; а если добавить к этому алчность трактирщиков, которые заламывают неслыханные цены – благо проезжающим некогда торговаться, – наглость кучеров и неограниченный произвол тиранов, именуемых кондукторами, составит весьма мрачная картина убийств, грабежей, вымогательств и мошенничества. Но в своем нетерпеливом стремлении к скорости люди пренебрегают опасностью и не слушают увещаний. Назло

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Д. Орловской.

² В день (*лат.*).

³ Перевод В. Брюсова.

уэльскому любителю старины мальпосты уже грохочут у подножия Пенмен-Моора и Кадер-Идрис, и

Дрожат холмы, издалека
Заслышав скрип и лязг возка.

Недалек день, когда эхо Бен-Невиса тоже будет потревожено, но не боевым рогом воинственного вождя клана, а почтовым рожком.

Был погожий летний день; по просьбе одного доброго посетителя⁴ я отпустил своих школьников раньше обычного. В тот день я ожидал с почтовой каретой новый номер интересного периодического издания и вышел на дорогу навстречу карете с тем нетерпением, с каким сельский житель, описанный Каупером^[8], жаждет новостей из столицы:

...Торжественная речь,
Жестокий спор, язвительный ответ,
И логика, и мудрость, блеск остроумия,
И громкий смех – я жажду вас услышать.
Горю желаньем вас освободить
Из плена, спорщики. И возвратить
Вам голос, и звучание, и жизнь.

С такими именно чувствами я ждал появления кареты, с недавних пор ходившей по нашей дороге под названием «Сомерсет»; должен сказать, что я люблю встречать почтовую карету даже и тогда, когда она не везет мне ничего интересного. Дребезжащий стук колес достиг моих ушей, едва я взошел на вершину отлогого холма, называемого Гослин-брэй, с которого открывается широкий вид на долину реки Гэндер. Дорога, которая поднимается вдоль берега этой реки, а затем пересекает ее по мосту, в четверти мили от того места, где я стоял, вьется частью между огороженных мест и пашен, частью среди общинных пастбищ и выгонов. Меня могут назвать ребячливым, но жизнь моя протекла среди детей, и отчего бы мне не разделять их радостей? Итак, пусть это будет ребячливостью, но, признаюсь, я с удовольствием слежу за приближением кареты, когда повороты дороги открывают ее нашим глазам. Нарядный вид экипажа, его размеры, издали кажущиеся игрушечными, быстрота его движения, когда он то скроется, то покажется вновь, и нарастающий шум, который возвещает его приближение, – все привлекает праздного зрителя, не занятого ничем более серьезным. Пусть же смеется, кто хочет, надо мной, а заодно и над множеством почтенных горожан, которые любят следить из окна за проезжающим дилижансом. Занятие это весьма свойственно людям, и многие из тех, кто поднимает его на смех, сами, быть может, украдкой им развлекаются.

В тот день, однако, мне не суждено было до конца насладиться любимым зрелищем и дожидаться, когда карета проедет мимо, а кондуктор хриплым голосом окликнет меня и на ходу вручит долгожданный пакет, ни на секунду не замедляя при этом движения экипажа. Я видел, как карета съехала со спуска, ведущего к мосту, с необычной даже для нее стремительностью, то появляясь, то исчезая в клубах ею же поднятой пыли и оставляя позади себя словно полосы летнего тумана. Но прошло три минуты – время, достаточное, по моим многократным наблюдениям, чтобы переехать мост и преодолеть подъем, – а карета все еще не появлялась на нашем берегу. Когда прошло еще столько же времени, я встревожился и поспешно зашагал ей навстречу. Выйдя к мосту, я сразу увидел причину задержки: «Сомерсет» опрокинулся, да так основательно, что лежал вверх колесами. Кучер и кондуктор, «проявив исключитель-

⁴ Его милости Гилберта Гослина из Гэндеркляу – ибо я во всех важных случаях люблю точность. (Примеч. авт.)

ную энергию», – как потом с похвалой отметили газеты, – успели уже перерезать постромки и высвободить лошадей, а теперь извлекали из кареты пассажиров, применив для этого «кеса-рево сечение» – иначе говоря, сорвав с петель одну из дверей, ибо открыть ее обычным путем не было возможности. Таким способом из кожаного чрева кареты были извлечены две весьма расстроенные девицы. Судя по тому, что они немедленно занялись своим туалетом, который, как и следовало ожидать, был в некотором беспорядке, я заключил, что они не получили ушибов; что же касается туалета, то я не осмелился предложить свои услуги, чем немало повредил себе, как оказалось впоследствии, в глазах прелестных потерпевших. Пассажиры на империале, которые были сброшены со значительной высоты толчком, подобным минному взрыву, отделались, однако, лишь незначительными царапинами и ушибами, исключая троих, угодивших в реку Гэндер, – эти еще боролись с водной стихией, подобно спутникам Энея⁹¹, уцелевшим после кораблекрушения:

Редкие видны пловцы среди обширной пучины.

Я поспешил со своей скромной помощью туда, где в ней, по-видимому, была наибольшая нужда, и при содействии тех из пассажиров, кто остался невредим, вскоре выловил двоих из утопавших: оба они были сильные и здоровые молодцы, которым едва ли понадобилась бы помощь, не будь на них длиннейших модных пальто и столь же длинных и широких «веллингтоновых» панталон. Третий был стар и немощен и мог бы погибнуть, если б не наши усилия.

Выбравшись на сушу и отряхнувшись, словно огромные морские котики, джентльмены в пальто начали яростные пререкания с кучером и кондуктором относительно причины несчастья. Слушая эту перебранку, я заключил, что оба моих новых знакомца принадлежат к сословию адвокатов и что их профессиональная изворотливость должна одержать верх над возницами, которые в ответ лишь угрюмо отругивались. Наконец кондуктор заверил пассажиров, что их повезут дальше в большом дилижансе, который ожидался менее чем через полчаса, при наличии в нем свободных мест. Обстоятельства складывались благоприятно для путников: когда ожидаемый дилижанс прибыл, из шести мест внутри его занятыми оказались только два. Обе дамы, извлеченные из опрокинувшейся кареты, были приняты охотно; что же касается адвокатов, то их одеяния, пропитавшиеся водой, как губки, грозили причинить в дороге большие неудобства соседям, и пассажиры дилижанса решительно воспротивились водворению их внутрь экипажа. Адвокаты, со своей стороны, отказывались поместиться на империале, заявляя, что в прежней карете они заняли наружные места по собственному желанию и только на один перегон, ради разнообразия, сохранив за собой право в любое время пересечь внутрь кареты и специально оговорив это. После препирательств, во время которых делались ссылки на закон о *Nautae, saurones, stabularii*⁵, дилижанс проследовал дальше, а ученым джентльменам осталось лишь требовать возмещения убытков.

Они тотчас же обратились ко мне с просьбой проводить их в ближайшее селение и указать там лучшую гостиницу. Выслушав мою рекомендацию «Голове Уоллеса», они заявили, что лучше останутся там, чем согласятся на условия, предложенные наглым кондуктором «Сомерсета». Теперь им нужен был только мальчишка для доставки их багажа, а его мы быстро нашли в одном из придорожных домиков. Они уже готовились двинуться в путь, когда оказалось, что еще один путешественник находится в одинаковом с ними затруднении. Это был тот пожилой, болезненный на вид человек, который вместе с ними упал в реку. Он, видимо, не осмелился предъявить свои требования кучеру, услышав, как были отвергнуты притязания более значительных особ, а теперь робко стоял поодаль, всем своим видом говоря, что ему нечем обеспечить себе гостеприимство трактирщиков.

⁵ Моряхах, кабатчиках и конюхах (*лат.*).

Я решился обратить внимание молодых щеголей на плачевное положение их попутчика. Намек мой был принят с добродушной готовностью.

– А ведь верно! Мистер ДанOVER! – обратился к нему один из молодых людей. – Что же вам тут оставаться? Пойдемте-ка пообедаем с нами. Мы с Холкитом все равно найдем экипаж, чтобы ехать дальше, и подвезем вас, куда скажете.

Бедняк – ибо таковым он казался по одежде и по робости – отвесил тот униженный поклон, которым шотландец как бы говорит: «Слишком много чести для таких, как я», и поплелся за своими веселыми покровителями, причем все трое поливали пыльную дорогу водой, струившейся с их намокшей одежды, – этот избыток влаги представлял забавный и нелепый контраст с окружающим летним пейзажем, где все под лучами полуденного солнца изнывало от зноя и засухи. Этот контраст был подмечен самими молодыми людьми: не пройдя нескольких шагов, они принялись отпускать на этот счет довольно удачные шутки.

– Мы не можем пожаловаться, как поэт Каули^[10], – сказал один из них, – что руно Гедсона осталось сухим посреди влажной стихии. С нами произошло нечто противоположное этому чуду.

– Нас должны с почетом встретить в городе: мы несем им то, в чем они, как видно, больше всего нуждаются, – сказал тот, кого назвали Холкитом.

– И проявляем при этом невиданную щедрость, – подхватил его приятель. – Поливаем их пыльную дорогу, точно три водовозные бочки.

– Мы явимся перед ними в полном составе, – сказал Холкит. – Адвокат, стряпчий...

– ...и клиент... – сказал молодой адвокат, оглянувшись, и прибавил, понизив голос – Который, судя по его ошипанному виду, давно уже имеет дело с нашим братом.

Действительно, у смиренного спутника молодых весельчаков был весьма потрепанный вид обнищавшего истца, разоренного тяжбами, и я невольно улыбнулся их догадке, хотя и постарался скрыть улыбку от предмета шуток.

Когда мы добрались до гостиницы «Уоллес», старший из эдинбургских джентльменов, который, по моему предположению, был адвокатом, настоял, чтобы я отобедал с ними; они подняли на ноги все семейство хозяина, потребовав извлечь из кладовой и погреба самые лучшие припасы и приготовить их наилучшим образом, и проявили при этом обширные познания в кулинарном искусстве. Во всем прочем они оказались веселыми малыми, в расцвете молодости и жизненных сил, истыми представителями верхушки своего сословия, весьма напоминавшими судейскую молодежь времен Аддисона и Стиля^[11]. К осведомленности и рассудительности, которые они проявляли в беседе, примешивалась беспечная веселость; они стремились сочетать качества людей деловых и в то же время светских, любителей изящного. Подлинный аристократ, воспитанный в той полной праздности и духовной пустоте, которые, насколько я понимаю, необходимы для создания безупречного джентльмена, вероятно, усмотрел бы у адвоката налет профессиональной педантичности, который тому не удавалось скрыть, а у его приятеля – некоторую излишнюю суетливость, и наверняка нашел бы в их беседе больше учености, а также оживления, чем подобает настоящему светскому человеку. Но я, настроенный не столь критически, с удовольствием находил у моих спутников счастливое сочетание хороших манер и широкого гуманитарного образования со склонностью к веселой болтовне, каламбуру и шутке, пленяющей серьезного человека потому, что сам он на них неспособен.

Худощавый и болезненный человек, которого они по доброте своей пригласили в свое общество, казался там не на своем месте и не в своей тарелке: он сидел на краешке стула, а стул не решался придвинуть ближе чем на два фута к столу, чем изрядно затруднял себе доставку пищи в рот, словно желая искупить этим дерзость, которую проявил, затесавшись в столь избранную компанию. Вскоре после обеда, отказавшись от вина, которое в изобилии стало ходить у нас по кругу, он осведомился, к какому часу заказан экипаж, и, сказав, что будет готов, смиренно удалился.

– Джек, – сказал адвокат своему спутнику, – мне знакомо лицо этого бедняги. А ведь ты угадал, это действительно один из моих клиентов.

– И верно, что бедняга! – отозвался Холкит. – Но ты, должно быть, хотел сказать: единственный из твоих клиентов?

– Не моя вина, Джек, – ответил адвокат, которого, как выяснилось, звали Харди. – Ведь ты должен передавать мне все свои дела, а если и у тебя их нет, так из ничего и не будет ничего, это подтвердит и наш ученый собеседник.

– Однако у этого горемыки все же было что-то, а ты обратил это в ничто. Судя по его виду, он скоро почтит своим пребыванием сердце Мид-Лотиана.

– Ошибаешься: он только что оттуда. Но я вижу, что наши речи непонятны нашему собеседнику. Вы бывали в Эдинбурге, мистер Петтисон?

Я отвечал утвердительно.

– В таком случае вы, наверное, проходили, хотя и не так часто, как я, – мне это приходится постоянно, – по узкому, извилистому переходу, который начинается от северо-западного угла Парламентской площади и идет вдоль высокого старинного здания с башнями и железными решетками. Там все как в поговорке: «От церкви близко, от Бога далеко...»

– Есть про это место и еще поговорка, – вмешался Холкит, продолжая загадку: – «От сумы...»

– В общем, – закончил адвокат, в свою очередь прерывая приятеля, – это такое место, где несчастье сходит за вину, место, откуда каждый желает вырваться...

– И куда никто не стремится попасть, – добавил другой.

– Я понял вас, джентльмены, – сказал я. – Вы имеете в виду тюрьму.

– Вот именно, – подтвердил молодой адвокат, – Эдинбургскую темницу, или, иначе, Толбут. Заметьте, мы описали ее вам весьма кратко, а могли бы расписать как нам заблагорассудится: теперь, когда отцы города постановили скрыть это почтенное здание до основания, ничто уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть наши рассказы.

– Так вот что называют сердцем Мид-Лотиана! – сказал я.

– Да, под этим названием оно известно лучше всего.

– Должен заметить, – сказал я с той застенчивостью, с какой человек позволяет себе каламбур в обществе, где отнюдь не рассчитывает блеснуть, – что в таком случае у графства Мид-Лотиан печально на сердце.

– Отлично сказано, мистер Петтисон, – сказал Харди. – Да, это холодное сердце, каменное сердце!.. Слово за тобой, Джек.

– Сердце, где всегда найдется место бедняку, – подхватил Холкит, стараясь не отстать.

– Зато это сердце нелегко разбить, – продолжал адвокат. – Кажется, последнее слово остается за мной. Неужели ты уже пасуешь, Джек?

– Ты читаешь у меня в сердце, – сказал со смехом младший из друзей.

– Тогда оставим эту тему, – сказал Харди. – А, право, жаль, что осужденной на слом темнице не предоставят того права, каким пользовались многие ее обитатели. Почему бы не издать «Последнюю исповедь и предсмертные признания Эдинбургской темницы»? Правда, старые стены не узнают своей посмертной славы, но разве не было так со многими беднягами, которые болтались в петле на восточной башне, а разносчики между тем торговали «Исповедью» и «Признаниями», которых преступник и не думал делать?

– Если позволите высказать мое мнение, – сказал я, – боюсь, что признания эти оказались бы однообразным перечнем бедствий и преступлений.

– Ошибаетесь, – сказал Харди. – Тюрьма – это целый мир, с особыми, только ему свойственными печалью и радостью. Жизнь ее обитателей нередко обрывается прежде времени, но ведь такова и участь солдат. Арестанты бедны, если применять к ним нашу мерку; однако и среди них есть разница состояний, так что некоторые оказываются относительно богаты. Они

никуда не могут уйти, но не так ли бывает и с гарнизоном осажденной крепости или с экипажем корабля, ушедшего в дальнее плавание? Кое в чем тюрьма даже лучше: там можно прикупить съестного, если есть деньги, и, во всяком случае, никто не принуждает вас работать.

– Вряд ли, однако, – сказал я (не без тайного умысла вызвав собеседника на откровенность, в надежде услышать что-нибудь интересное для моей новой темы), – вряд ли в тюремной хронике будет достаточное разнообразие событий.

– Разнообразие будет бесконечное, – возразил молодой адвокат. – Все, что есть в жизни необычайного и страшного, – преступление, обман, безумство, неслыханные бедствия и невероятные повороты фортуны, – всему этому будут примеры в моей «Последней исповеди Эдинбургской темницы»; их будет достаточно, чтобы удовлетворить даже ненасытный аппетит публики, всегда падкой до чудес и ужасов. Романист тщетно ломает голову, стараясь разнообразить свою повесть, но как редко удается ему найти образ или положение, которые еще не примелькались читателю! И похищение, и смертельная рана, от которой герой никогда не умирает, и опасная горячка, от которой героиня наверняка выздоровеет, оставляют читателя равнодушным. Подобно моему другу Краббу^[12], я никогда не теряю надежды и полагаюсь на тот пробковый пояс, на котором герои романа благополучно выплывают из любой пучины.

Тут он с большим чувством прочел следующий отрывок:

Боялся я. Но не боюсь теперь
Узнать, что красоту терзает зверь
И что в темницу ввергнута она,
Коварному злодею отдана.
Пусть ров глубок, и стены высоки,
И на дверях железные замки,
Страж у дверей, бездушен и жесток,
Не променяет долг на кошелек.
Пускай мольбы утихнут, не задев
Сердца мужей и сердобольных дев,
И с высоты тюремного окна
Пусть не решится броситься она.
И помощь так безмерно далека,
Что не дождаться целые века.
И все же сочинитель сыщет путь,
Чтобы свободу узнице вернуть.

Когда развязку можно угадать, – заключил адвокат, – книга теряет всякий интерес. Вот отчего никто нынче не читает романов.

– Что я слышу! – воскликнул его приятель. – Верите ли, мистер Петтисон, когда бы вы ни навели сего ученого мужа, вы всегда найдете у него последний модный роман – правда, искусно спрятанный под «Юридическими институциями» Стэра или «Судебными решениями» Моррисона.

– Разве я отрицаю это? – сказал юрист. – Да и к чему? Ведь известно, что эти пленительные Далилы^[13] завлекали в свои сети многих людей куда умнее меня. Разве мы не найдем романов среди бумаг наших известнейших адвокатов или даже под подушками судейского кресла? Мои старшие коллеги в адвокатуре и суде читают романы; а некоторые, если только это не клевета, даже сами их сочиняют. Про себя скажу, что я читаю по привычке и по лени, но не из подлинного интереса. Как шекспировский Пистоль, когда он ел свой порей^[14], я клянусь книгу, но дочитываю ее до конца. Иное дело – подлинные повести о людских безумствах, записанные

в судебных отчетах; прочтите их – и вам откроются новые страницы человеческого сердца и такие повороты судьбы, какие ни один романист не решился бы измыслить.

– И подобные повести, – спросил я, – вы предполагаете извлечь из истории Эдинбургской темницы?

– В большом изобилии, дорогой сэръ, – ответил Харди. – Позвольте, кстати, наполнить ваш стакан... Не там ли в течение многих лет собирался шотландский парламент?^[15] Не там ли укрылся король Иаков^[16], когда разъяренная толпа, подстрекаемая мятежным проповедником, ворвалась туда, крича: «Да падет меч Гедеона^[17] на голову нечестивого Амана!»^[18] А с тех пор сколько сердец изнывало в этих стенах, сколько людей отсчитывало там последние часы своей жизни, сколько их отчаивалось при ударах часов! Сколько их искало поддержки в упорстве и гордости, в непреклонной решимости! Сколько их искало утешения в молитве! Одни, оглядываясь на совершенные ими преступления, недоумевали, как могли они поддаться искушению. Другие, в сознании своей невиновности, негодовали на несправедливость суда и тщетно искали пути доказать свою правоту. Неужели повесть об этих глубоких и сильных страданиях не вызовет столь же глубокого волнения и интереса? Дайте мне только издать шотландские «Causes célebres»⁶, и вы надолго насытитесь трагедиями. Истина всегда торжествует над созданиями самого пылкого воображения. Magna est veritas, et proevalebit⁷.

– Мне всегда казалось, – заметил я, ободренный любезностью моего говорливого собеседника, – что летописи шотландского правосудия должны быть в этом смысле менее богаты, чем в любой другой стране. Высокий нравственный уровень нашего народа, его трезвость и бережливость...

– Сокращают число профессиональных воров и грабителей, – сказал адвокат, – но не спасают от безумных заблуждений и роковых страстей, рождающих преступления более необычные, а именно они и вызывают наибольший интерес. В Англии цивилизация существует гораздо дольше; люди там издавна привыкли подчиняться законам, применяемым неукоснительно и обязательным для всех; там каждому отведено в обществе определенное место; самые преступники составляют особую общественную группу, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько категорий, сообразно способам хищений и их объектам. Эти сообщества тоже подчиняются известным правилам и обычаям, и они уже достаточно известны на Боу-стрит, в Хэттон-гарден и в Олд-Бейли. Наша соседка Англия подобна возделанному полю, где пахарь знает, что вместе с посевом, несмотря на все его старания, взойдет известное количество сорняков, и может заранее назвать и описать их. Шотландия же в этом отношении подобна собственным своим горным лощинам. Моралист найдет столько же исключительного в наших судебных летописях, сколько ботаник находит редкостных растений среди наших скал.

– И это все, что ты извлек из троекратного чтения комментариев к шотландскому уголовному законодательству? – спросил приятель адвоката. – Их ученый автор не подозревал, что примеры, с такой тщательностью и эрудицией собранные им для иллюстрации юридических концепций, могут быть превращены в какие-то приложения к растрепанным томам библиотеки романов.

– Поспору на пинту кларета, – сказал адвокат, – что это его не обидело бы. Но прошу не прерывать меня, как мы говорим в суде. Я еще немало мог бы порассказать из моих шотландских «Causes célebres». Вспомните, какие необычайные и дерзкие преступления порождались у нас долгими междоусобиями; или передачей судейских должностей по наследству, а это вплоть до сорок восьмого года отдавало правосудие в руки людей невежественных или пристрастных; или нравами наших дворян, которые сидят по своим медвежьим углам и не впадают в полную спячку только потому, что лелеют чувства злобы и мстительности. Вспомните, нако-

⁶ «Знаменитые судебные процессы» (фр.).

⁷ Нет ничего превыше истины, и она восторжествует (лат.).

нец, ту приятную особенность национального характера, тот *perfervidum ingenium Scotorum*⁸, который наши законники приводят в оправдание суровости нашего законодательства. Когда я дойду до этих мрачных и зловещих дел, у читателя волосы встанут дыбом и кровь застынет в жилах... Но вот и наш хозяин. Должно быть, экипаж подан.

Оказалось, однако, что экипажа нет и не будет до утра, ибо сэр Питер Плайем только что перед тем угнал единственную четверку здешних лошадей в старинный город Баблбург, куда он направился по делам выборов. Но так как Баблбург – только один из пяти городишек, которые совместно выбирают одного депутата в парламент, то соперник сэра Питера воспользовался его отсутствием для проведения энергичной кампании среди избирателей другого городка, Битема, который, как известно, граничит с поместьем сэра Питера, а потому с незапамятных времен всецело подвластен роду Плайемов. Сэр Питер оказался, таким образом, в положении воинственного монарха, который, углубившись на неприятельскую территорию, вынужден немедленно возвратиться, чтобы защищать собственные владения. Сэру Питеру пришлось вернуться из наполовину завоеванного Баблбурга в чуть было не потерянный им Битем; так что четверка лошадей, доставившая его утром в Баблбург, снова понадобилась, чтобы везти его вместе с его управляющим, слугою, приживалом и собутыльником обратно в Битем. Эти объяснения хозяина нимало не заинтересовали меня, как, вероятно, и читателя; но спутникам моим они показались столь интересны, что вполне примирили их с задержкою. Они встрепенулись, как боевые кони при звуке трубы, заказали хозяину комнату и целых полгаллона кларета и занялись обсуждением политической ситуации в Баблбурге и Битеме, а также всех «жалоб, кассаций и апелляций», которые из нее непременно воспоследуют.

В разгаре оживленного – но для меня совершенно непонятого – разговора о мэрах, судьях, старшинах и секретарях городских корпораций, об избирательных списках и цензе оседлости адвокат вдруг спохватился: «А как же бедняга Дановер? Мы о нем совсем позабыли!» За *rauvre honteux*⁹ послали хозяина с настоятельным приглашением провести остаток вечера вместе. Я спросил молодых людей, что им известно о несчастном. Адвокат полез в карман за делом своего клиента.

– Он – один из кандидатов на *remedium miserabile*¹⁰, – сказал Харди, – на так называемый *sessio bonorum*¹¹. Подобно тем богословам, которые усомнились в справедливости вечных мук ада, шотландские юристы пришли к выводу, что грех бедности не следует карать пожизненным заключением. Отбыв месячный срок, несостоятельный должник может обратиться в Верховный суд, указать размер своих долгов и своего актива, передать все имущество кредиторам и ходатайствовать об освобождении из тюрьмы.

– Я слышал, – заметил я, – об этом гуманном установлении.

– Да, – сказал Холкит, – и самое лучшее в нем, как заметил некий иностранец, это то, что можно добиться *sessio*, когда *bonorums* у вас нет и в помине. Ну, что ты роешься в карманах? Ведь у тебя там одни старые театральные афишки, заявления, требующие заседания факультета, устав Общества мыслителей, расписание лекций и прочая чепуха, наполняющая карманы молодого адвоката. Вы найдете там все, кроме денег и дел. Неужели ты не сумеешь без шпаргалки изложить дело о *sessio*? Эти дела рассматриваются каждую субботу. Все они на один лад, и одна форма обвинения подойдет к каждому.

– Это нимало не похоже на те дела, которые, по словам вашего товарища, проходят через наши суды, – сказал я.

⁸ Кипучий дух шотландцев (*лат.*).

⁹ Стыдливый бедняком (*фр.*).

¹⁰ Печальное средство (*лат.*).

¹¹ Отказ от имущества (*лат.*).

– Верно, – ответил Холкит, – но Харди говорил об уголовных делах, а это – чисто гражданское. Я и сам мог бы выступить по такому делу, хоть и не имею прав на адвокатскую мантию и треххвостый парик. Итак, слушайте, как я изложил бы дело. Мой клиент, по ремеслу ткач, работал по найму, скопил кое-какие деньжонки, арендовал ферму (а ведь для этого, как и для того, чтобы править шарабаном, нужен талант), а тут неурожай... Он выдал кому-то векселя без обеспечения, помещик наложил секвестр, кредиторы пошли на соглашение, наш фермер решил открыть трактир, разорился вторично, был подвергнут тюремному заключению за долг на сумму десять фунтов семь шиллингов шесть пенсов. В настоящее время его долг составляет столько-то, убытки – столько-то, наличные средства – столько-то, что составляет баланс: столько-то в его пользу. Возражений не поступило. Прошу суд привести должника к присяге.

Харди отказался наконец от попыток найти свой документ и рассказал о злключениях бедного Дановера с обычным своим остроумием, но в то же время с волнением, которого он словно стыдился, как не подобающего профессионалу, но которое делало ему честь. Это была одна из тех повестей, где злой рок неотступно преследует героя. Человек безупречной нравственности, знающий, трудолюбивый, но робкий и бедный, он тщетно пробовал все средства, какими обычно достигается благополучие, но едва раздобывал себе пропитание. В краткую пору надежд на достаток – но еще не самого достатка – он обзавелся женой и детьми, но луч надежды скоро угас. Все неудержимо влекло его к самому краю пропасти, ожидающей неисправных должников. Он отчаянно цеплялся за все, что могло отсрочить гибель, но все ускользало из его рук; он сумел лишь продлить свою агонию и наконец погрузился на дно, с которого был извлечен стараниями Харди.

– А теперь, когда ты вытащил беднягу на берег, – сказал Холкит, – ты, надо полагать, оставишь его, разутого и раздетого, на произвол судьбы. Послушай-ка... – И он что-то зашептал на ухо своему товарищу; я разобрал только многозначительные слова: «просить содействия милорда».

– Устраивать судьбу разорившегося клиента, – сказал Харди смеясь, – ведь это *pessimi exempli*, дурной пример братьям. Я и сам об этом подумывал, не знаю только, удастся ли. Но тише! Вот он сам.

Мне было приятно видеть, что несчастья Дановера как бы дали ему право на уважение и внимание молодых людей; они обошлись с ним весьма вежливо и сумели вовлечь в разговор, который, к моему удовольствию, вновь обратился к шотландским «*Causes célebres*». Ободренный радушным обхождением, Дановер разговорился. В тюрьмах, как и всюду, существуют свои традиции, известные лишь их обитателям и передаваемые от одного поколения заключенных другому. Некоторые из этих обычаев, описанных Дановером, были интересными иллюстрациями к знаменитым процессам, которые Харди и его товарищ так тщательно изучили. За этими рассказами прошел у нас вечер, пока Дановер не выразил желаний отправиться на покой; я последовал его примеру, чтобы записать кое-что из слышанного и прибавить новые страницы к тем повестям, которые я с таким удовольствием составлял. Молодые люди потребовали жаркого, глинтвейна, колоду карт и сели играть в пикет.

Наутро путники покинули Гэндеркю. Впоследствии я узнал из газет, что оба они приняли участие в нашумевшей политической тяжбе между Баблбургом и Битемом – тяжбе, подлежавшей быстрому разрешению, но которой, видимо, суждено надолго пережить депутатские полномочия тяжущихся. Холкит, как сообщали газеты, выступил в качестве поверенного, а Харди – в качестве адвоката сэра Питера Плайема, причем так удачно, что с тех пор в его карманах стало меньше театральных афиш и завелись дела. Удача эта была ими заслужена, ибо Дановер, навестивший меня вскоре после этого, со слезами сообщил, что они выхлопотали ему скромное место, дающее возможность содержать семью. Поистине не было бы счастья, да несчастье помогло. После вереницы бедствий для него наконец блеснул луч надежды, – и все после того, как он упал с крыши дилижанса в реку Гэндер в обществе адвоката и присяжного

стряпчего. Не знаю, будет ли читатель так же радоваться этому событию: ведь именно ему он обязан повестью, которую я составил из рассказов того вечера.

Глава II

*Кому доводилось в Париже бывать,
Тот Гревскую площадь не может не знать.
Приют для несчастных, где честность и суд
В единстве чудовищном к смерти ведут.*

*Там гибель срывает оковы с людей,
Венчает палач ухищренья судей,
Там грозный разбойник и нежный певец
Своим злочлоченьям находят конец.*

Прайор^[19]

В былые времена публичные казни в Англии свершались на площади Тайберн, куда осужденные жертвы правосудия торжественно шли по нынешней Оксфорд-роуд. В Эдинбурге для этой печальной цели имелся широкий проезд, или, вернее, длинная площадь, окруженная высокими зданиями и носившая название Грассмаркет. Большие размеры ее позволяли вмещать множество зрителей, обычно собиравшихся на это тягостное зрелище. Вместе с тем окружающие ее дома издавна были населены преимущественно людьми простого звания, так что те, кого неприятное зрелище могло оскорбить или чрезмерно взволновать, были от него избавлены. Дома на площади Грассмаркет большей частью убоги; однако ж место это не лишено величавости – с юга над ним высится отвесная скала, увенчанная старинной крепостью с обшелыми зубчатыми стенами и башнями.

Площадь служила для публичных казней еще лет тридцать назад. Наступление рокового дня возвещалось большой черной виселицей, воздвигавшейся в восточном конце Грассмаркета. Это зловещее сооружение имело значительную высоту и было окружено помостом, куда вели две лестницы: для несчастной жертвы и палача. Все это сооружалось в ночь перед казнью, отчего казалось, что виселица вырастает из земли по мановению нечистой силы; помню, какой ужас внушали эти зловещие приготовления мне и другим школьникам. В ночь после казни виселица исчезала и убиралась, под покровом тьмы и тайны, на обычное свое место под сводами парламента или здания суда. Теперь казни совершаются по-иному: как в лондонском Ньюгете; но лучше ли это, сказать не берусь. Правда, нравственные муки осужденного теперь сокращены: ему не приходится шествовать через весь город в погребальном саване, в сопровождении священника, подобно живому мертвецу; но если признать, что главной целью наказания является предотвращение преступлений, то, сократив мрачную церемонию, не уменьшили ли мы отчасти того потрясающего действия на зрителей, которое в огромном большинстве случаев является единственным оправданием смертной казни?

7 сентября 1736 года на площади Грассмаркет как раз происходили описанные нами мрачные приготовления.

С раннего утра площадь начала заполняться группами людей, смотревших на помост и виселицу с суровым и мстительным удовлетворением, – случай весьма редкий, ибо народ обычно склонен великодушно забывать о преступлении осужденного и видеть лишь его страдания. На этот раз, однако, преступник был осужден за действия, которые более всего вызывают ненависть народа. История эта хорошо известна; однако для лучшего понимания всего последующего нелишне будет напомнить ее в главных чертах. Рассказ может оказаться длинен, но, надеюсь, небезынтересен для тех, кому известен его конец. Как бы то ни было, некоторые подробности необходимы ради ясности дальнейшего повествования.

Несмотря на ущерб, который контрабанда наносит правительственным доходам, торговле и нравам, она не считается в народе – да, впрочем, и среди высших классов – тяжким преступлением. Напротив, в тех краях, где она процветает, она неизменно привлекает наиболее отважных, сметливых и способных из крестьян, зачастую при потворстве фермеров и мелкого дворянства. В царствование первого и второго Георгов контрабанда в Шотландии была распространена повсеместно, ибо население, непривычное к пошлинам и считавшее их нарушением своих исконных прав и свобод, всеми способами старалось от них уклониться.

Контрабанда особенно процветала в графстве Файф, омываемом морем с трех сторон – с юга, севера и востока – и изобилующем мелкими гаванями. Там проживало много опытных мореходов, начинавших свою жизнь пиратами, так что в смельчаках никогда не было недостатка. На особой примете у таможенников был некий Эндрю Уилсон, бывший пекарь из села Патхед. Он обладал большой физической силой, смелостью и находчивостью, отлично знал побережье и способен был возглавить самое отчаянное предприятие. Не раз удавалось ему ускользнуть от погони.

Но таможенники учредили за ним такой бдительный надзор и столько раз отбирали товары, что вконец разорили его. Уилсон озлобился. Он считал себя ограбленным и вообразил, что при случае имеет право расквитаться с казной. А где есть готовность к преступлению, там и случай не замедлит представиться. Уилсон как-то проведал, что сборщик пошлин из Киркалди прибыл по делам службы в Питтенуим, имея при себе крупную сумму казенных денег. Сумма эта была все же значительно меньше той, которую Уилсон потерял на отобранных товарах; поэтому он решил возместить свои убытки за счет казны и сборщика.

Он взял себе в товарищи некоего Робертсона и еще двух праздных молодцов, также замешанных в контрабанде, которых он убедил рассматривать все предприятие с той же точки зрения. Они выследили таможенника и ворвались в дом, где он остановился. Уилсон и двое из его сообщников вошли в комнату чиновника, а четвертый, Робертсон, стал на страже у дверей с обнаженным кинжалом. Чиновник, видя, что жизнь его в опасности, в одной рубахе выпрыгнул из окна и спасся бегством, а грабители беспрепятственно овладели двумястами фунтами казенных денег.

Грабеж был необычайно дерзким, ибо на улице в тот час еще было немало прохожих. Но Робертсон объяснил любопытным, привлеченным шумом, что чиновник повздорил с домохозяином; почтенные граждане Питтенуима, не считая себя обязанными выручать ненавистного всем таможенника, удовлетворились этим малоправдоподобным объяснением, и, подобно левиту из евангельской притчи, перешли на противоположную сторону. Наконец забили тревогу и вызвали солдат, грабители были схвачены, добыча отнята, а Уилсон и Робертсон осуждены на смерть, главным образом на основании показаний одного из их сообщников.

Многие считали, что суду следовало принять во внимание заблуждение, в котором пребывали преступники, и заменить смертную казнь менее суровой карой. Однако, по мнению правительства, дерзкое преступление требовало примерного наказания. Когда смертный приговор был вынесен, кто-то из друзей осужденных передал им в тюрьму напильники и все необходимое для побега. Они распилили решетку в одном из окон и могли бы спастись, если бы не упрямство Уилсона, которого у него было не меньше, чем смелости. Товарищ его, Робертсон, человек молодой и худощавый, предлагал первым вылезти через проделанное ими отверстие, чтобы потом, если понадобится, расширить его снаружи для Уилсона. Но Уилсон непременно захотел попробовать первым; будучи плотного сложения, он не только не сумел пролезть между прутьев, но и прочно застрял там. Попытка к бегству была раскрыта, и тюремщик принял все меры к тому, чтобы она не могла повториться.

Робертсон ни единым словом не упрекнул товарища за упрямство, погубившее их обоих; но, как видно, Уилсон сам не мог простить себе, что вовлек Робертсона, на которого имел большое влияние, в преступную затею, имевшую столь плачевный конец, а затем погубил его

вторично, помешав побегу своим упрямством. Люди, подобные Уилсону, хотя и закоренели в преступлениях, но сохраняют способность к самопожертвованию. Теперь он думал только о том, как спасти жизнь Робертсона, не заботясь о своей собственной. Для этого он задумал и осуществил необычный и смелый план.

К Эдинбургской темнице примыкает одна из трех церквей, образующих ныне собор Сент-Джайлса, называвшаяся тогда Толбутской церковью. Согласно обычаю, в последнее воскресенье перед казнью осужденные, охраняемые стражей, присутствовали там при богослужении. Предполагалось, что это последнее совместное моление в обществе ближних должно было смягчить и обратить к Богу ожесточившиеся сердца несчастных. Для остальных же прихожан считалось полезным поклониться Творцу вместе с теми, кто, готовясь по приговору земного судии предстать на суд Всевышнего, уже как бы стоят на пороге вечности. Впрочем, после случая, о котором мы намерены рассказать, этот назидательный обычай был отменен.

Священник, совершавший богослужение, только что окончил трогательную проповедь, отчасти обращенную к несчастным Уилсону и Робертсону, которые сидели на отведенной для преступников скамье, каждый под охраной двух солдат городской стражи. Священник напомнил им, что скоро они присоединятся к сонму праведных или грешников; что не далее, как через два дня, они вместо церковных псалмов услышат райское пение или же плач и скрежет зубовой – смотря по тому, в каком расположении духа они встретят свой смертный час; что им не должно отчаиваться перед близким концом, но, напротив, радоваться: ибо всем присутствующим, молящимся вместе с ними, равно суждено умереть, но только им одним дано знать точно, когда приговор будет приведен в исполнение. «Поэтому, – воскликнул достойный человек дрожащим от волнения голосом, – пользуйтесь оставшимся временем, братья мои! Помните, что Тот, для Кого не существует времени, может даровать вам вечное спасение даже за те краткие минуты, которые оставил вам земной судия».

Было замечено, что Робертсон при этих словах заплакал; Уилсон же, казалось, ничего не понимал или был поглощен иными мыслями, но это в его положении было так естественно, что ни в ком не вызвало ни удивления, ни подозрений.

Служба окончилась, и молящиеся стали расходиться, но многие медлили, желая поближе рассмотреть преступников, которые вместе со стражей встали и также готовились идти, как только можно будет пробраться к выходу. В толпе раздавались возгласы сочувствия, особенно явного ввиду смягчающих обстоятельств дела, – как вдруг Уилсон, который, как мы уже говорили, обладал богатырской силой, схватил двоих солдат, каждого одной рукою, и, крикнув своему товарищу: «Беги, Джорди, беги!», бросился на третьего и вцепился зубами в ворот его мундира. Робертсон на мгновение оцепенел и, казалось, не в силах был бежать; но когда крик «Беги!» был подхвачен многими из окружающих, открыто ставшими на его сторону, он оттолкнул четвертого солдата, перескочил через скамью, смешался с толпой, где ни одна рука не поднялась задержать несчастного в его последней попытке спастись, мгновенно оказался у выхода – и исчез.

Отвага и великодушие, проявленные Уилсоном, усилили общее сочувствие к нему. Когда не затронуты их собственные предубеждения, люди склонны сочувствовать бескорыстию и самоотвержению; все восхищались Уилсоном и радовались побегу Робертсона. Общее сочувствие породило даже слух о том, что перед самой казнью Уилсон будет освобожден толпой либо старыми товарищами или вторично проявит свою необычайную силу и отвагу. Власти сочли необходимым принять меры против возможных беспорядков. На место казни был послан большой отряд городской стражи под командованием капитана Портеуса, получившего столь печальную известность после трагических событий, связанных с этой казнью. Нелишне будет поэтому сказать несколько слов о его отряде и о нем самом. Впрочем, предмет этот настолько важен, что заслуживает особой главы.

Глава III

*О бог великий, aquae-vitae!¹²
Мы ищем у тебя защиты,
В несчastьях наших помоги ты
И будь на страже!
Спаси нас от лихих бандитов –
От нашей стражи!*

Фергюсон^[20]. «Сумасшедшие дни»

Капитан Джон Портеус, чье имя сохранилось в эдинбургских преданиях, равно как и в летописях уголовных дел, был сыном эдинбургского портного, прочившего его по той же части. Но юноша, которого неудержимо влекло к разгульной жизни, предпочел поступить в полк наемников, долго служивших в Голландии и прозванных поэтому «шотландскими голландцами». Там он прошел военную выучку. Вернувшись в родной город после нескольких лет праздной и скитальческой жизни, он пригодился эдинбургскому магистрату в смутный 1715 год для обучения городской стражи и вскоре получил чин капитана. Этим повышением он был обязан единственно своим военным познаниям и распорядительности, проявленной на полицейской службе; ибо вообще, как говорили, он отличался распутством, был бессердечный сын и жестокий муж. На своем посту он был, однако, полезен, а его свирепость устрашала бунтовщиков и нарушителей общественного порядка.

Вверенное ему войско состоит – вернее, состояло – из ста двадцати солдат, разделенных на три роты и получавших форменную одежду и довольствие. Туда шли преимущественно ветераны, на досуге занимавшиеся ремеслом. На них лежала обязанность поддержания порядка, подавления бунтов и пресечения уличных грабежей; словом, это была вооруженная полиция, вызываемая при всех случаях, когда можно ожидать смуты и беспорядков. Бедняга Фергюсон, который в своей разгульной жизни порой сталкивался с этими блюстителями общественного спокойствия и упоминает о них так часто, что может быть назван их певцом, следующим образом предостерегает от них читателя, основываясь, без сомнения, на собственном опыте:

Спасайся, добрый мой народ,
От стражников-задир.
Едва ль найдется худший сброд
Средь тех, на ком мундир.

Действительно, солдаты городской стражи, как мы уже говорили, пожилые, отслужившие воины, но еще достаточно крепкие для выполнения своих обязанностей, к тому же – большей частью из шотландских горцев, отнюдь не были расположены терпеливо сносить оскорбления толпы, дерзкое озорство школьников и бесчинства праздных гуляк, с которыми им всего чаще приходилось сталкиваться. Бедняги были ожесточены насмешками, которые им доставались по любому поводу, и часто нуждались в увещеваниях того же поэта:

Ради самих себя, солдаты

¹² Вода жизни, водка (лат.).

Страны, озерами богатой!
Не грабьте нас, как супостаты,
Не лейте кровь!
Ужели нам нести утраты
Все вновь и вновь?

Во всех случаях праздничного веселья, когда имеется законный предлог пошуметь, стычка со стражниками составляла излюбленное развлечение эдинбургской толпы. Когда эти строки увидят свет, такие стычки у многих, вероятно, еще будут свежи в памяти. Но почтенного воинства, которое в них участвовало, уже не существует. Постепенное исчезновение городской стражи напоминает участь ста рыцарей короля Лира. Каждое новое поколение городских советников, подобно Гонерилье и Регане^[21], все более уменьшало их число, задавая один и тот же вопрос: «К чему нам двадцать пять? К чему нам десять? Зачем нам пять?» А скоро дойдет уже до того, что «и одного не надо».

Теперь лишь изредка можно увидеть этот призрак былого: седобородого горца с лицом, иссеченным боевыми рубцами, но согбенного старостью; в старинной форменной треуголке, обшитой простою белой тесьмой вместо прежнего серебряного галуна; в полинялом красном мундире, жилете и панталонах; в иссохшей руке у него – старинное оружие, так называемый лохаберский топор, то есть длинный шест с топориком и крюком на конце. Я слышал, что эта тень минувшего еще расхаживает вокруг памятника Карлу II в Парламентском сквере, словно все обломки прошлого ищут приюта возле Стюартов. Еще два-три маячат у ворот караульного помещения, отведенного им в Лукенбуте после того, как было снесено их прежнее здание на Хай-стрит. Но столь неверна судьба рукописей, завещанных друзьям и душеприказчикам, что эти беглые заметки о старой эдинбургской страже и их суровом и доблестном капрале Джоне Ду (самом свирепом человеке, когда-либо мною виденном), которые в пору моего детства были предметом насмешек и одновременно страха для школьной братии, пожалуй, увидят свет, когда исчезнет самая память о них, и будут годны разве как подписи к карикатурам Кэя^[22], увековечившим некоторых из этих героев. Во времена наших отцов, живших в постоянном страхе перед якобитскими заговорами^[23], городские власти старались поддерживать стражу, хотя и состоявшую из старцев, в боеспособном состоянии; не то что потом, когда самым опасным делом для них стали стычки с чернью по случаю дня рождения короля. Словом, тогда еще они были предметом ненависти, а не презрения, как впоследствии.

Капитан Джон Портеус, видимо, чрезвычайно дорожил честью своего отряда и своей собственной. Он негодовал против Уилсона, который столь бесцеремонно обошелся с его солдатами, освобождая своего товарища, и высказывал это в самых сильных выражениях. Не менее возмущали его слухи о предстоящей попытке спасти Уилсона от виселицы; угрозы и проклятия, которые он по этому поводу изрыгал, ему впоследствии припомнили. Вообще, хотя решительность и быстрота действий предназначали Портеуса на роль усмирителя, он все же не годился на это трудное дело, ибо был крайне несдержан, постоянно готов пустить в ход силу, беспринципен и склонен рассматривать толпу – при каждом случае награждавшую его и его солдат знаками своего неудовольствия – как заклятых врагов, в отношении которых самые жестокие меры представлялись оправданными и законными. Однако именно ему, как наиболее энергичному и надежному из начальников городской стражи, было поручено поддержание порядка во время казни Уилсона. Во главе восьмидесяти солдат, – все, что можно было выделить для такого случая, – он был поставлен охранять помост и виселицу.

Но городские власти приняли и другие меры, и этим больно задела самолюбие Портеуса. Они вызвали солдат регулярного пехотного полка, которые во время казни должны были находиться – правда, не на площади, а на главной улице, чтобы своею численностью внушать толпе надлежащий страх, в случае если б она обнаружила склонность бунтовать. Нам, свидетелям

упадка городской стражи, подобная обидчивость ее командира может показаться смешной. Но именно так обстояло дело. Капитан Портеус считал за оскорбление вызов валлийских стрелков туда, где без особого дозволения городских властей никто не мог бить в барабан, кроме его стражников. Не смея обнаружить свое неудовольствие перед начальством, он еще более разъярился против несчастного Уилсона и всех, кто ему сочувствовал, и жаждал выместить на них свою злобу. Еле сдерживаемая ярость исказила его лицо, и это заметили все, кто видел его в роковое утро, назначенное для казни Уилсона. Обычно наружность его производила, скорее, приятное впечатление. Он был среднего роста, коренаст, но хорошо сложен и, несмотря на военную выправку, выглядел довольно добродушным. Лицо его было смугло и несколько повреждено оспой; глаза не выражали пронизательности или свирепости, но глядели, скорее, равнодушно. Теперь же окружающим показалось, что он находится во власти некоего демона. Движения его были резки, голос глух и прерывист, лицо бледно; глаза его смотрели дико, речь была бессвязна. Он настолько не владел собой, что многим показалось, будто перед ними человек, увлекаемый к гибели роковой и непреодолимой силой.

В одном он проявил поистине дьявольскую жестокость, если только это не преувеличение позднейших рассказчиков, которые все предубеждены против него: когда тюремщик передал ему злополучного Уилсона, которого надлежало доставить на место казни, Портеус, не довольствуясь обычными предосторожностями против побега, приказал надеть ему наручники. Это еще было понятно ввиду огромной силы и решительности осужденного, а также опасений, что его попытаются освободить. Но принесенные наручники оказались слишком малы для такого гиганта, как Уилсон. Тогда Портеус собственноручно, с большими усилиями, надел и замкнул их, причиняя несчастному адские муки. Уилсон стал укорять его за эту жестокость, говоря, что нестерпимая боль мешает ему собраться с мыслями и должным образом приготовиться к смерти.

– Невелика беда, – ответил капитан Портеус. – Недолго тебе осталось готовиться.

– Ты жесток, – сказал страдалец. – Смотри, как бы и тебе не пришлось молить о сострадании, в котором ты отказываешь ближнему. Да простит тебе Бог!

На том и кончился разговор Портеуса с осужденным; но слова эти, надолго всем запомнившиеся, еще усилили всеобщее сочувствие к Уилсону и раздражение против Портеуса, который чрезмерным усердием при исполнении своей ненавистной народу должности часто давал не только воображаемые, но и вполне справедливые поводы к негодованию.

Когда печальное шествие прошло по городу и Уилсон в сопровождении стражи приблизился к помосту на Грассмаркете, нигде не видно было признаков волнений, которые заставили принять столько предосторожностей. Толпа, видимо, более обычного сочувствовала осужденному; на многих лицах выражалось негодование. Так, должно быть, смотрели камеронцы^[24] на казнь своих братьев, умиравших за ковенант^[25] на этом самом месте. Никто, однако, не пытался вмешаться. Уилсон и сам, казалось, стремился сократить время, отделявшее его от вечности. Едва были прочитаны положенные в таких случаях молитвы, как он покорно отдал себя в руки палача, и приговор был приведен в исполнение.

Он висел в петле уже без всяких признаков жизни, когда толпа, словно под влиянием какого-то толчка, пришла в волнение. В Портеуса и его стражников полетело множество камней; некоторые попали в цель; толпа стала наступать с криками, воплями, свистом и бранью. Какой-то парень в матросской шапке, надвинутой на лицо, вскочил на помост и перерезал веревку, на которой висел казненный. Другие подоспели, чтобы унести тело, – то ли желая предать его земле, то ли попытаться вернуть к жизни. Видя такое неповиновение его власти, взбешенный Портеус забыл, что после свершения казни полномочия его кончались и ему следовало поскорее увести своих солдат, а не вступать с толпой в бой. Он спрыгнул с помоста, выхватил мушкет у одного из солдат, скомандовал отряду стрелять и сам – как показали потом под присягой несколько свидетелей – подал им пример, уложив на месте одного из толпы.

Несколько солдат повиновались приказу или последовали примеру: человек семь было убито и множество ранено.

Совершив это насилие, капитан повел своих людей в караульное помещение на Хай-стрит. Поступок его не столько устроил, сколько разъярил толпу. Вслед солдатам полетели проклятия и камни. Когда толпа стала напирать, солдаты в задних рядах обернулись и снова выстрелили с убийственной меткостью. Неизвестно, скомандовал ли им Портеус и на этот раз, но вся ответственность за роковые события этого дня легла на него одного. Придя в караульную, он отпустил солдат и пошел докладывать о случившемся городским властям.

К этому времени капитан, видимо, и сам усомнился в законности своих поступков, а прием, оказанный ему городскими властями, побудил его многое утаить. Он отрицал, что подал команду стрелять; отрицал и то, что стрелял сам, и даже предложил осмотреть свою офицерскую фузею; она оказалась заряженной, а два других патрона – из трех, взятых им с собою утром, – остались в его подсумке; белый платок, введенный в дуло, был извлечен оттуда чистым, без следов пороха. Однако эти обстоятельства, говорившие в пользу капитана, были опровергнуты иными показаниями: Портеус стрелял не из своего мушкета – видели, как он взял мушкет у солдата. Среди множества убитых и раненых в результате злополучной стрельбы было несколько именитых граждан. Некоторые солдаты из человеколюбия стреляли поверх голов толпы, теснившейся вокруг помоста, а это оказалось роковым для тех, кто наблюдал страшную сцену издали или со своих балконов. Негодование было всеобщим, и, прежде чем оно успело улеться, капитан Портеус предстал перед Высшим уголовным судом. Присяжные долго и терпеливо выслушивали свидетелей; им надо было как-то согласовать показания множества горожан, которые слышали команду, видели, как обвиняемый стрелял сам, видели даже огонь и дым из ствола его фузеи и падение одной из его жертв; и противоположные показания, в которых люди, тоже стоявшие достаточно близко к месту происшествя, утверждали, что не слышали команды и не видели, как Портеус стрелял; напротив, они уверяли, будто первый выстрел был произведен солдатом, стоявшим возле него. Основным доводом защиты было вызывающее поведение толпы, которое свидетели, смотря по своим симпатиям и имевшимся у них возможностям наблюдения, также изображали различно: одни – как грозный мятеж; другие – как пустячные беспорядки, как весьма обычное при казнях выражение сочувствия осужденному и негодования против палача. Решение присяжных обнаруживает, какие показания оказались для них убедительнее. Они признали, что Джон Портеус стрелял в толпу, собравшуюся к месту казни; что он скомандовал своим солдатам стрелять, вследствие чего множество людей было убито и ранено; вместе с тем они отметили, что обвиняемый и его солдаты были закиданы камнями, от чего получили ушибы и ранения. На основании этого решения суд приговорил капитана Джона Портеуса к смертной казни через повешение и к конфискации всего движимого имущества в пользу короны, что по шотландским законам делалось в случаях преднамеренного убийства. Приговор надлежало привести в исполнение на площади Грассмаркет в среду 8 сентября 1736 года.

Глава IV

*Уж пробил час, а человека нет!*¹³

Келли

В день, назначенный для исполнения приговора над злополучным Портеусом, огромная площадь, на которой совершались казни, была так забита людьми, что почти нечем было дышать. Из каждого окна высоких зданий, выходящих на площадь и на извилистую улицу, по которой роковое шествие должно было проследовать с Хай-стрит, глядело множество зрителей. Необычайная высота старых зданий, из которых иные принадлежали в свое время еще храмовникам и рыцарям св. Иоанна и сохранили на фронтонах и коньках крыш железные кресты этих орденов, еще усиливала впечатление от этого внушительного зрелища. Площадь Грассмаркет казалась сплошным темным морем человеческих голов, а в середине – высокое, черное и злое – виднелось роковое дерево со свисающей оттуда смертной петлей. Всякий предмет связан для нас с его назначением, и столь обыденные сами по себе вещи, как столб и веревочная петля, получали в этом случае зловещий смысл.

Огромная толпа безмолвствовала; лишь кое-где переговаривались шепотом. Жажда мести до некоторой степени утолялась близостью ее свершения, даже простолудины, настроенные торжественнее обычного, воздерживались от шумных изъявлений радости и готовились насладиться зрелищем возмездия молча и сдержанно, с суровым достоинством. Казалось, их ненависть к злополучному преступнику была слишком глубока, чтобы выразиться в тех шумных формах, в каких они обычно изъявляют свои чувства. По всеобщей тишине посторонний наблюдатель мог бы заключить, что толпа погружена в глубочайшую печаль, заглушавшую все звуки, обычные при таком скоплении народа. Однако ему достаточно было бы взглянуть в лица собравшихся, чтобы впечатление это тотчас рассеялось. Всюду, куда бы он ни взглянул, плотно сжатые губы, нахмуренные брови, мрачно горящие глаза говорили о том, что люди собрались сюда насладиться местью. Возможно, что появление преступника изменило бы настроение толпы в его пользу и что в его смертный час она простила бы человека, против которого пылала такой злобой. Однако этой изменчивости чувств не суждено было проявиться.

Уже давно прошел обычный час, когда приводили осужденного, а он все еще не появлялся. «Неужели осмелятся пойти против решения суда?» – начали тревожно спрашивать друг друга собравшиеся. Сперва каждый твердо отвечал: «Не посмеют!» Но затем послышались другие голоса, которые стали высказывать различные сомнения. Портеус был любимцем городских властей, которые, будучи многочисленны и весьма нерешительны, нуждались в защитниках, наделенных гораздо большей решительностью, чем та, которой обладали они сами. Вспомнили, что обвинительный акт по делу Портеуса, представленный суду, изображал его как главную опору магистрата во всех особо трудных случаях. Поведение его в злосчастный день казни Уилсона легко было приписать избытку служебного усердия, – а за это начальство не склонно строго взыскивать. Эти соображения могли побудить магистрат представить дело Портеуса в благоприятном свете, а высшее начальство, в свою очередь, имело причины отнестись к нему благосклонно.

Эдинбургская толпа во все времена бывала страшна в своем гневе – страшна, как мало где еще в Европе, – а в последнее время она не раз восставала против правительства и даже одерживала временные победы. Эдинбуржцы знали, что находятся на плохом счету у властей; они

¹³ Как говорит легенда, эти слова недовольного водяного духа послышались однажды из ручья, превратившегося после ливней в бурный поток. В тот же миг к ручью прискакал всадник и пожелал переправиться. Увлекаемый к гибели своей судьбой (что по-шотландски обозначается словом fey), он не стал слушать ничьих уговоров, бросился в поток и погиб. (*Примеч. авт.*)

понимали, что, если даже грубый произвол Портеуса и не вполне одобряется правительством, оно все же побоится предать его смертной казни и тем отбить у полицейских охоту действовать сколько-нибудь решительно при подавлении мятежей. Правящие круги всегда склонны к поддержанию порядка; то, что родственники пострадавших считали зверским, ничем не оправданным убийством, могло предстать английскому правительству в ином свете. Можно было повернуть дело так, что капитан Портеус выполнял обязанности, возложенные на него законными городскими властями, что толпа напала на него и ранила нескольких из его людей и что, ответив на насилие насилием, он действовал якобы только в целях самозащиты и выполнения служебного долга.

Эти соображения были сами по себе достаточны, чтобы собравшиеся начали опасаться отсрочки казни; но среди множества причин, которые могли снискать Портеусу расположение властей, называли еще одну, особенно понятную простолюдинам. Чтобы представить Портеуса в еще более гнусном свете, они говорили, что он был суров только с бедняками, которым не спускал ни малейшего проступка, но зато смотрел сквозь пальцы на распущенность молодых отпрысков знати и дворян и даже пользовался своим официальным положением, чтобы прикрывать бесчинства, которые обязан был пресекать. Это последнее обвинение, быть может преувеличенное, произвело на толпу глубокое впечатление, а когда несколько дворян послали королю петицию о помиловании Портеуса, все решили, что это вызвано не состраданием к нему, но единственно боязнию потерять услужливого пособника кутежей и бесчинств. Вряд ли нужно говорить, что это еще более распалило ненависть народа к преступнику и усилило опасения, что он избегнет казни.

Пока все эти доводы приводились и обсуждались, выжидательное молчание собравшихся сменилось тем глухим и грозным ропотом, который слышится над океаном, предвещая бурю. Возбуждение нарастало; под его влиянием тесно сгрудившаяся толпа начинала вдруг колыхаться и без всякой видимой причины подавалась то назад, то вперед, напоминая движение океанских волн, которое зовется у моряков мертвой зыбью. Весть, которую городские власти не сразу решились огласить, разнеслась среди собравшихся с быстротою молнии. Указ лондонского министерства, собственноручно подписанный его светлостью герцогом Ньюкаслем, гласил, что соизволением королевы Каролины (регентши страны во время пребывания Георга II на континенте) исполнение смертного приговора над Джоном Портеусом, бывшим капитан-лейтенантом эдинбургской городской стражи, ныне заключенным в Эдинбургской темнице, откладывается на шесть недель.

При этом известии описанное нами возбуждение достигло предела; собравшиеся зрители самых различных званий испустили негодующий возглас, вернее рев, напоминавший рев обманутого тигра, у которого сторож отнял лакомый кусок, когда он уже готовился проглотить его. Казалось, это предвещало немедленный взрыв народного гнева; власти ожидали его и приняли необходимые меры. Однако крик не повторился и ожидаемых беспорядков не произошло. Народ словно устыдился громкого выражения своего разочарования, но прежнее молчание сменилось приглашенным говором множества отдельных групп, сливавшимся в общий глухой гул.

Хотя ждать было больше нечего, толпа упорно не хотела расходиться; глядя на приготовления к казни, оказавшиеся на этот раз ненужными, зрители возбуждали себя, толкуя о том, что Уилсон куда больше заслуживал королевского помилования хотя бы ради его искреннего заблуждения или великодушного поступка с товарищем. «И этот человек, – говорили в толпе, – великодушный, решительный, храбрый, был безжалостно казнен за кражу кошелька, который он к тому же считал лишь возмещением своих убытков, а приспешник знатных распутников, по пустячному поводу проливший кровь двадцати своих сограждан, считается достойным помилования. Неужели мы это стерпим? Неужели это стерпели бы наши отцы? Или мы не шотландцы, не граждане Эдинбурга?..»

Стражники начали разбирать помост, надеясь этим побудить толпу скорее разойтись. Это возымело желаемое действие. Как только зловещее дерево было снято с широкого каменного пьедестала, на котором оно укреплялось, и погружено в телегу, чтобы быть отправленным в обычное потайное хранилище, толпа, выразив свои чувства еще одним гневным криком, начала расходиться по домам, возвращаясь к обычным занятиям.

Окна, заполненные зрителями, также постепенно опустели; на площади еще оставались группы почтенных горожан, видимо, ожидавших, пока схлынет толпа. Не в пример большинству случаев, эти группы населения разделяли всеобщее негодование. Мы уже говорили, что от руки солдат Портеуса погибли не одни только простолюдины и сообщники Уилсона. Было убито несколько зрителей, глядевших из окон, а это были весьма почтенные горожане, конечно, не принадлежавшие к числу мятежников. Озлобленные этими потерями, гордые эдинбургские бюргеры, всегда ревниво оберегавшие свои права, были весьма раздражены неожиданным помилованием капитана Портеуса.

Было замечено, как вспоминали впоследствии, что, когда толпа начала рассеиваться, какие-то люди стали переходить от одной группы к другой и шептаться с теми, кто особенно громко выражал свое недовольство правительством. Эти подстрекатели были на вид деревенскими парнями, по-видимому, товарищами Уилсона, особенно озлобленными против Портеуса.

Однако если эти люди намеревались поднять мятеж, попытки их некоторое время оставались бесплодными. Простолюдины и бюргеры мирно расходились по домам, и только по сумрачным лицам да по обрывкам разговоров можно было судить о состоянии умов. Предоставим эту возможность читателю и присоединимся к одной из многочисленных групп, медленно подымавшихся по крутому склону Уэст-боу, по дороге в Лоунмаркет.

– Ну и дела, миссис Хауден, – говорил старый Питер Пламдамас своей соседке-аукционщице, предлагая ей руку на крутом подъеме. – Там, в Лондоне, видно, забыли и Бога и закон, что такому злодею, как Портеус, дают полную волю над мирными жителями.

– А я-то тащила такую даль! – отвечала миссис Хауден, громко кряхтя. – Только зря за окно заплатила, да какое окно-то отличное, рукой подать до виселицы, каждое слово было бы слышно – целых двенадцать пенсов это мне стоило, и все напрасно!

– Я так думаю, – сказал Пламдамас, – что по нашим старым шотландским законам это помилование неправильное.

– Я хоть в законах не разбираюсь, – ответила миссис Хауден, – а тоже скажу: когда был у нас свой король, свой канцлер и свой парламент, можно было их камнями закидать, если что не так. А до Лондона попробуй докнишь.

– Будь он неладен, этот Лондон, – сказала девица Гризл Дамахой, швея преклонных лет. – Мало того, что парламент наш разогнали, еще и работу отбивают. Поди убеди теперь наших господ, что и шотландской иглой можно обшить сорочку оборками или шейный платок – кружевом.

– Истинно так, мисс Дамахой! Изюм – и тот стали выписывать из Лондона, – подхватил Пламдамас, – да еще нагнали к нам английских акцизных... Честному человеку нельзя уж и бочонок бренди привезти из Лейта в Лоунмаркет – мигом отберут, а ведь за него деньги плачены. Не стану оправдывать Эндрю Уилсона – нечего было зариться на чужое добро, хотя он и считал, что возмещает только свои убытки. А все же большая разница между ним и злодеем Портеусом!

– Раз уж речь зашла о законах, – сказала миссис Хауден, – вон идет мистер Сэдлтри: он в них разбирается не хуже любого адвоката.

Тот, о ком она говорила, пожилой человек чопорного вида, в пышном парике и строгой темной одежде, нагнал беседующих и галантно предложил руку мисс Гризл.

Сообщим читателю, что мистер Бартолайн Сэдлтри имел на улице Бесс-уинд отличную шорную мастерскую под вывеской «Золотая кобыла». Однако истинным его призванием (по мнению его самого и большинства его соседей) была юриспруденция: он не пропускал ни одного заседания суда, расположенного по соседству, что неминуемо нанесло бы ущерб его собственному делу, если бы не расторопная супруга, которая отлично обходилась в мастерской без него, угождая заказчикам и держа подмастерьев в строгости. Эта почтенная матрона предоставила мужу совершенствоваться в юридических познаниях, но зато целиком забрала в свои руки дом и мастерскую. Наделенный словоохотливостью, которую он считал красноречием, Бартолайн Сэдлтри нередко досаждал ею окружающим, так что остряки имели в запасе шутку, которой иногда прерывали поток его красноречия, а именно, – что кобыла у него хоть и золотая, зато крепко оседлала хозяина. Оскорбленный Сэдлтри начинал тогда говорить с женою весьма высокомерным тоном; это, впрочем, мало ее смущало, пока он не пытался действительно показать свою власть – тут он получал жестокий отпор. Но на это Бартолайн отваживался редко; подобно доброму королю Джеми^[26], он более любил рассуждать о власти, нежели применять ее. В общем, это было даже лучше для него, ибо недостаток его увеличивался без всяких усилий с его стороны или ущерба для излюбленных им занятий.

Пока мы сообщали все это читателю, Сэдлтри с большим знанием дела рассуждал о Портеусе и пришел к выводу, что если бы тот выстрелил пятью минутами раньше, то есть прежде, чем Уилсон был вынут из петли, он бы *versans in licito*, то есть поступил бы по закону, и мог быть обвинен только в *propter excessum*, иначе – в неумеренном усердии, – а это свело бы наказание к *roena ordinaria*¹⁴.

– Неумеренным? – подхватила миссис Хауден, до которой эти тонкости, разумеется, не дошли. – Да когда же Джок Портеус отличался умеренностью, или воздержанностью, или скромностью? Помнится, еще отец его...

– Но, миссис Хауден... – начал было Сэдлтри.

– А я, – сказала девица Дамахой, – помню, как его мать...

– Мисс Дамахой! – умоляюще воскликнул оратор, которому не давали вставить слово.

– А я, – сказал Пламдамас, – помню, как его жена...

– Мистер Пламдамас! Миссис Хауден! Мисс Дамахой! – взывал оратор. – Тут требуется разграничение, как говорит советник Кроссмайлуф. Я, говорит он, делаю разграничение. Поскольку преступник был вынут из петли и казнь совершена, Портеус не имел уже официальных полномочий; раз дело, которое ему было поручено охранять, было завершено, он был всего лишь *civis ex populo*¹⁵.

– *Quivis, quivis*, мистер Сэдлтри, с вашего позволения, – прервал его (с энергичным ударением на первом слоге) мистер Батлер, помощник учителя в одном из предместий города, подошедший как раз в ту минуту, когда Сэдлтри коверкал латынь.

– Не люблю, чтоб меня прерывали, мистер Батлер... Впрочем, рад вас видеть! Я повторяю слова советника Кроссмайлуфа, а он говорит *civis*.

– Если советник Кроссмайлуф путает именительный падеж с дательным, я бы такого советника посоветовал поучить ремнем, мистер Сэдлтри. За такие ошибки мы даже в младшем классе порем.

– Я говорю по-латыни как юрист, мистер Батлер, а не по-учительски.

– Даже не по-ученически, – заметил Батлер.

– Все это не важно, – продолжал Бартолайн, – важно вот что: Портеус подлежит теперь *roena extra ordinem* – высшей мере наказания, а попросту говоря, виселице, и все потому, что

¹⁴ Обычному наказанию (*лат.*).

¹⁵ Вместо *quivis in populo* – один из народа (*лат.*).

не стрелял, когда имел на то полномочия, а дожидался, пока тело вынут из петли, то есть пока свершится казнь, которую ему поручено было охранять, и истечет срок его полномочий.

– Неужели, – спросил Пламдамас, – Портеус был бы оправдан, если бы стал стрелять раньше, чем в него бросили камнем?

– Вот именно, сосед Пламдамас, – уверенно заявил Бартолайн, – ведь тогда он был при исполнении служебных обязанностей и в своем праве, а казнь еще только свершалась, но еще не завершилась; а вот когда Уилсона вынули из петли, тут уж конец его полномочиям. Ему бы надо было уйти по Уэст-боу со своими солдатами, да поскорее, ну, скажем, как если бы он сам спасался от ареста. Таков закон, и так его толкует сам лорд Винковинсент.

– Винковинсент? А это как – настоящий лорд или судейский? – спросила миссис Хауден.

– Судейский... Ну их, настоящих-то!.. У тех только и разговору, что про седла, да сбрую, да уздечки, да сколько будут стоять, да скоро ли будут готовы. Все бы им скакать, вертопрахам! Чтобы с ними толковать, на это и жена моя годится.

– Что ж! Она действительно с кем угодно сумеет поговорить, а вы ей цены не знаете, вот что! – сказала миссис Хауден, обиженная столь пренебрежительным упоминанием о своей приятельнице. – Когда мы с ней были девушками, вот уж не думали, что придется выйти за таких, как мой Хауден или хоть вы, мистер Сэдлтри.

Пока Сэдлтри, не отличавшийся находчивостью, раздумывал, как ему ответить на эту колкость, девица Дамахой тоже накинулась на него.

– А чем были плохи наши лорды? – сказала она. – Вспомните-ка доброе старое время, еще до Унии, когда, бывало, собирался парламент! Иной раз годовой доход с имения весь уходил на упряжь, да на сбрую, да на расшитые плащи. А какие носили платья! Так, бывало, все заткано золотом, что стоймя стоит. Это ведь по моей части.

– А какие задавались пиры, сколько шло марципанов, варенья, сухих фруктов! – подхватил Пламдамас. – Что и говорить: не та стала Шотландия.

– Вот что я скажу, соседи, – заявила миссис Хауден. – Шотландцы и впрямь не те стали, если стерпят сегодняшнюю обиду. Подумать, скольких он еще мог бы убить!.. Взять хоть мою внучку, Эппи Дейдл, – ведь нарочно в школу не пошла... Известное дело, дети...

– За это их следует пороть, – вставил мистер Батлер, – если желаете им добра.

– Она у меня к самой виселице пробралась, поглядеть на казнь, – известно, ребенок! А ну, как и ее подстрелили бы? Что бы мы тогда стали делать? Каково покажется королеве Каролине, если ее детишек вот этак...

– Если верить молве, – сказал Батлер, – ее величество королева перенесла бы это довольно легко.

– Я вот что хочу сказать, – настаивала миссис Хауден, – будь я мужчиной, уж я бы добралась до Джока Портеуса, а королева как там себе хочет!

– Я бы собственными ногтями вцепилась в дверь тюрьмы, – сказала мисс Гризл, – а добралась бы до него.

– Сударыня, вы, быть может, и правы, – сказал Батлер, – но советую говорить потише.

– Поттише? – воскликнули обе дамы. – То есть как это поттише? Да весь город, от таможни до шлюзов, только об этом и будет кричать и так этого дела не оставит.

Тут дамы ушли, каждая к себе домой. Пламдамас и оба его спутника зашли, по своему обыкновению, выпить meridian (изрядную порцию бренди) в известный трактир в Лоунмаркете. После этого мистер Пламдамас направился в свою лавку, а Батлер, которому зачем-то вдруг понадобились ременные вожжи (а для чего – об этом сразу догадались бы все мальчишки, пропустившие школьные занятия в тот памятный день), пошел вместе с мистером Сэдлтри по Лоунмаркету; перебивая друг друга и не слыша ни слова из того, что изрекал собеседник, они рассуждали – один о шотландских законах, другой – о правилах грамматики.

Глава V

*Он всюду устанавливал закон,
Но дома был ягненком кротким он.*

Дэви Линдсей

– Приходил возчик Джок Драйвер, спрашивал, готова ли новая упряжь, – сказала миссис Сэдлтри своему супругу, входившему в лавку (не для того, чтобы дать ему отчет, но чтобы тактично напомнить, сколько она успела сделать в его отсутствие).

– Ладно, – ответил Бартолайн и ничего более не соблаговолит добавить.

– А еще лэрд Гирдингбарст присылал лакея, а потом и сам зашел – до чего ж обходительный молодой человек! Справлялся, когда будет готов вышитый чепрак для гнедого – скоро ведь скачки в Келсо.

– Ладно, – столь же лаконично отозвался Сэдлтри.

– А еще его светлость граф Блэйзонбери, лорд Флеш и Флейм, говорят, с ума готов сойти – отчего не доставили в срок упряжь для шести фламандских кобыл, с гербами, коронами, попонами и всем набором.

– Ладно, ладно, ладно, жена, – сказал Сэдлтри, – если он сойдет с ума, объявим его невменяемым, только и всего.

– Тебе все ладно, Сэдлтри, – сказала супруга, обиженная равнодушием, с каким был принят ее доклад, – другой бы этого не потерпел, сколько заказчиков, а принять некому, кроме жены: ведь не успел ты уйти, как подмастерья тоже побежали глядеть на казнь, ну а раз тебя нет...

– Довольно, миссис Сэдлтри, – сказал с важностью Бартолайн. – Не докучай мне пустяками. Мне была крайняя надобность отлучиться, а как сказал мистер Кроссмайлуф, когда его вызвали сразу два судебных пристава, *non omnia possumus*¹⁶, то есть *pessimus... possimis...* Ну ладно, наша юридическая латынь не по вкусу мистеру Батлеру, а значит это вот что: никто, будь то хоть сам лорд-президент, не может делать двух дел зараз.

– Отлично, мистер Сэдлтри, – отвечала спутница его жизни с насмешливой улыбкой, – вот ты и выбрал, что делать: оставил жену хлопотать с седлами да уздечками, а сам побежал глядеть, как вешают человека, который тебе ничего худого не сделал.

– Женщина, – произнес Сэдлтри, впадая в возвышенный тон, которому отчасти способствовало выпитое бренди, – воздержись рассуждать о вещах, которые ты не способна понять. Уж не думаешь ли ты, что я рожден ковырять шилом кусок кожи, когда такие, как Дункан Форбс или Арнистон, ничем меня не лучше, если верить нашей улице, вышли в советники и адвокаты? А живи я в справедливые времена, хотя бы при храбром Уоллесе...^[27]

– Не знаю, какой толк нам был бы от храброго Уоллеса, – сказала миссис Сэдлтри, – разве что в те времена требовалась кожа для оружия, как я слыхала от старых людей; да и то неизвестно, заплатил ли бы он за нее. А что до твоих способностей, Бартли, наша улица, как видно, знает о них больше меня, раз так их расхваливает.

– Говорят тебе, – сказал гневно Сэдлтри, – что ты ничего в этом не смыслишь. Во времена сэра Уильяма Уоллеса никто не гнул спину в шорной лавке – вся кожаная упряжь шла из Голландии.

¹⁶ Не на все мы способны (*лат.*).

– Коли так, – сказал Батлер, наделенный юмором, как большинство людей его профессии, – коли так, то дело изменилось к лучшему: сбрую мы теперь делаем сами, а из Голландии ввозим только адвокатов.

– К сожалению, это верно, мистер Батлер, – вздохнул Сэдлтри. – Вот если бы мне посчастливилось, вернее, если бы у отца хватило ума послать меня в Лейден или Утрехт изучать Субституции и Пандекс...

– Вы, верно, хотите сказать Институции – Институции Юстиниана?^[28] – сказал Батлер.

– Институции и субституции, как известно, синонимы, мистер Батлер; недаром и то и другое употребляется в документах о неотчуждаемости наследства – смотри «Судебную практику» Бальфура, а также «Стили» Далласа Сент-Мартина. Слава богу, я в этом кое-что смыслю; но признаю, что поучиться в Голландии мне, конечно, следовало.

– Утешьтесь, вы и тогда не ушли бы дальше, чем сейчас, мистер Сэдлтри, – сказал Батлер, – наши шотландские адвокаты – это племя избранных. Это чистый коринфский металл. *Non cuivis contigit adire Corinthum*¹⁷. Ага, мистер Сэдлтри!

– Это я скажу: ага, мистер Батлер! – возразил Бартолайн, который, разумеется, не понял шутки и уловил только знакомое слово. – Давеча вы говорили *quivis*, а теперь сами говорите *cuivis*, я ясно слышал!

– Терпение, мистер Сэдлтри! Я берусь объяснить эту кажущуюся несообразность, – сказал Батлер, столь же педантичный в своей области, но несравненно более знающий, чем наш дилетант от юриспруденции. – Прошу минуту внимания. Согласитесь прежде всего, что именительный падеж есть такой падеж, который служит для называния или обозначения предметов или лиц, и что это есть падеж первичный, ибо все остальные образуются от него, – в языках классических путем изменения окончаний, в наших же нынешних вавилонских наречиях – с помощью предлогов. С этим вы, надеюсь, согласны, мистер Сэдлтри?

– А это мы еще посмотрим, как говорится, *ad avisandum*¹⁸. Никогда не следует спешить соглашаться ни в процедурных вопросах, ни в фактических, – сказал Сэдлтри с таким видом, словно понял сказанное.

– Дательный же падеж, *dativus*... – продолжал Батлер.

– Что такое *tutor dativus*¹⁹ – это я знаю, – сказал Сэдлтри.

– Дательный падеж, – продолжал учитель, – обозначает, что нечто дается или объявляется принадлежащим некоему лицу или предмету. Этого вы, конечно, тоже не станете отрицать.

– И тут я сразу соглашаться не стану, – сказал Сэдлтри.

– Так что ж такое, по-вашему, эти падежи, черт возьми? – воскликнул Батлер, выйдя из себя и забывая обычную благопристойность выражений.

– Это мне надо хорошенько обдумать, мистер Батлер, – сказал Сэдлтри с глубокомысленным видом. – Мне нужен срок, чтобы ответить на каждый пункт вашего обвинения, а уж тогда я признаюсь или стану отрицать.

– Будет тебе, Сэдлтри! – сказала его жена. – Все бы тебе признания да обвинения; пусть этим товаром торгуют те, кому от него доход. А нам они пристали как корове седло.

– Ага! – сказал Батлер. – *Optat ephippia bos piger*²⁰. Ничто не ново под солнцем. Однако миссис Сэдлтри ловко вас поддела.

– Если уж ты так разбираешься в законах, – продолжала супруга, – лучше бы помог бедняжке Эффи Динс, которую посадили в тюрьму, на хлеб и на воду. Это наша служанка, мистер Батлер. Не верится мне, что она виновна... А какая помощница была!.. Бывало, мистер Сэдл-

¹⁷ Не всякому посчастливится попасть в Коринф (*лат.*).

¹⁸ Для предуведомления (*лат.*).

¹⁹ Опекун, обязанный кормить подопечного (*лат.*).

²⁰ Мечтает о седле ленивый вол (*лат.*).

три уйдет из дому – разве он усидит дома, если хоть где-нибудь судятся! – а Эффи мне и кожи перетаскать поможет, и товар выложит, и с заказчиками займется. Все ею довольны были – девушка приветливая и, можно сказать, первая красавица в городе. С самыми привередливыми заказчиками ладила куда лучше меня; я-то ведь уж не в тех годах, чтобы быстро поворачиваться, да, признаюсь, и погорячиться случается. Народу у нас бывает много, каждый свое толкует, а язык у меня один – где же всем сразу ответить? – вот и отвечаешь с маху. Плохо мне без Эффи, дня не пройдет, чтоб я ее не вспомнила.

– De die in diem²¹, – добавил Сэдлтри.

– Помнится, – сказал Батлер после заметного колебания, – я видел ее у вас: скромная такая, белокурая...

– Она, она! – подтвердила хозяйка. – Лукавый ли ее попутал или она невинна, один Господь знает; но если виновна, сильно, должно быть, было искушение... Я поклясться готова, что она была не в своем разуме.

Батлер между тем пришел в сильное волнение; он нервно шагал взад и вперед по мастерской, изменив обычной своей сдержанности.

– Это не дочь ли Дэвида Динса, арендатора из деревни Сент-Леонард, – спросил он, – и нет ли у нее сестры?

– А как же! Джини Динс, старше ее на десять лет. Недавно к нам приходила, очень горюет о сестре. А что я ей могла посоветовать? Сказала ей, чтобы приходила, когда Сэдлтри дома. Правда, и от него нечего ждать проку, но хоть бы подбодрить бедняжку на время. Еще успеет наплакаться.

– Ошибаешься, жена, – сказал надменно Сэдлтри, – я очень много мог бы для нее сделать. Я бы ей объяснил, что сестра ее обвиняется по статуту шестьсот девяносто, параграф первый: по подозрению в детоубийстве, за сокрытие беременности и сокрытие местонахождения рожденного ею младенца.

– Надеюсь, – сказал Батлер, – что она сможет доказать свою невиновность.

– Я тоже, мистер Батлер, – подхватила миссис Сэдлтри. – Я бы поручилась за нее, как за собственную дочь. Да вот горе! Я все лето хворала, месяца три совсем не вставала. А нашего Сэдлтри хоть в родильный дом посылай – он не догадается, зачем это женщины туда приходят. Я ее мало видела, а то бы уж выведала у нее всю правду!.. Теперь одна надежда, что сестра покажет на суде в ее пользу.

– Весь суд, – сказал Сэдлтри, – только об этом и говорил, пока не случилось дело Портеуса. Уж очень интересный случай обвинения в убийстве по косвенным уликам. Такого у нас не было после дела старухи Смит, повивальной бабки, которую казнили в тысяча шестьсот семьдесят девятом году.

– Что с вами, мистер Батлер? – вскричала хозяйка. – На вас лица нет! Не хотите ли глоточек бренди?

– Не надо, – с усилием отвечал Батлер. – Я вчера шел пешком из Дамфриза, а день был жаркий.

– Присядьте, – сказала миссис Сэдлтри, ласково усаживая его. – Присядьте и отдохните, так и захворать недолго. Ну а с новой должностью вас можно поздравить?

– Да... то есть нет... не знаю, – пробормотал молодой человек. Но миссис Сэдлтри не отставала – частью из любопытства, частью из искреннего расположения.

– Как же так? Не знаете, дадут ли вам школу в Дамфризе, когда вы все лето этого дожидались и уже там учили?

²¹ Изо дня в день (*лат.*).

– Нет, миссис Сэдлтри, мне этой должности не дадут, – сказал Батлер, несколько успокоившись. – У лэрда Блэк-эт-зи-Бейн есть побочный сын, которого он готовил в священники, а пресвитерия отказалась его посвятить. Вот он и...

– Понимаю, можете дальше не рассказывать. Раз местечко понадобилось для лэрдова родственника или побочного сына, тут уж ничего не поделаешь. Вы, значит, вернулись в Либбертон поджидать, пока тут место освободится? А ведь мистер Уэкберн, хоть и слаб здоровьем, может прожить не меньше вашего.

– Возможно, – сказал Батлер со вздохом, – я ему смерти не желаю.

– Экая досада! – продолжала добрая женщина. – Быть в таком зависимом положении, когда человек по праву и по званию заслуживает лучшей доли. И как вы только это терпите?

– Quos diligit castigat²², – отвечал Батлер. – Даже язычник Сенека находил утешение в горестях. Древние утешались философией, иудеи – божественным откровением. Это давало им силы терпеть, миссис Сэдлтри. У нас, христиан, есть нечто еще лучшее... А все же...

Он умолк и вздохнул.

– Я знаю, о чем вы, – сказала миссис Сэдлтри, поглядев на мужа, – бывает, что терпению приходит конец. Тут уж и Библия не помогает. Да не уходите! Видно, что вам нездоровится. Оставайтесь, откушайте с нами.

Сэдлтри отложил «Судебную практику» Бальфура – свою настольную книгу, из которой он черпал всю свою ученость, – и присоединился к просьбам своей гостеприимной жены. Но учитель был непоколебим и поспешил распрощаться.

– Тут что-то есть, – сказала миссис Сэдлтри, глядя ему вслед. – Отчего бы ему так огорчиться из-за Эффи? Я что-то не замечала, чтобы он водил с нею знакомство, – правда, он был им сосед. Это еще когда Дэвид Динс жил на земле лэрда Дамбидайкса. Должно быть, мистер Батлер знает ее отца или родных. Да встань же, Сэдлтри! Ты уселся прямо на хомут, который надо прострочить. А вот и Уилли! Ах ты, непоседливый чертенок! Носится по городу, глазееет на то, как людей вешают... Смотри, как бы и ты этим не кончил! Нечего хныкать, я ведь тебя не бью. Ступай, да гляди, чтобы этого больше не было... Да скажи Пегги, чтобы дала тебе студня – небось проголодался, постреленок... Ведь у него ни отца, ни матери – кто же о нем позаботится, кроме нас, Сэдлтри? Это наш христианский долг.

– Верно, – ответил Сэдлтри. – Вплоть до совершеннолетия мы ему *in loco parentis*²³. Я даже подумывал просить о предоставлении мне прав *loco tutoris*²⁴, поскольку у него нет опекуна по завещанию, а опекун по назначению ничего не хочет делать. Боюсь только, как бы расходы на оформление опеки не оказались *in rem versam*, то есть напрасными; ибо не знаю, есть ли у Уилли имущество, подлежащее опеке.

Тут он самодовольно откашлялся, как и подобало человеку, постигшему все тонкости законов.

– Какое там имущество! – сказала миссис Сэдлтри. – Он остался от матери в одних лохмотьях. Пришлось Эффи сшить ему кафтанчик из моей старой синей шали, а раньше у него и вовсе приличной одежды не было. Бедная Эффи! Скажи мне толком, законник, неужто ее казнят, когда и ребенка-то, может, не было?

– Да будет тебе известно, – сказал Сэдлтри, обрадованный, что жена его наконец-то проявила интерес к юридическим вопросам, – что есть два сорта *murdrum* или *murdragium*²⁵, то

²² Кого любит, тех и наказывает (*лат.*).

²³ Вместо родителей (*лат.*).

²⁴ Опекуна (*лат.*).

²⁵ Сэдлтри «латинизирует» с помощью окончаний английское слово *murder* – убийство.

есть того, что вы, *populariter et vulgariter*²⁶, зовете убийством. То есть сортов, собственно, много; бывает *murthrum per vigilias et insidias*²⁷. А то еще есть *murthrum*, основанное на доверии.

– Вот это, – заметила супруга, – должно быть, тот способ, которым знатные господа убивают нас, ремесленников, когда разоряют дотла. Только при чем тут Эффи?

– Дело Эффи, или Юфимии Динс, – продолжал Сэдлтри, – относится к так называемым убийствам, установленным с помощью косвенных улик, иначе говоря – некоторых *indicia*, или подозрений.

– Выходит, – сказала миссис Сэдлтри, – что раз Эффи скрывала свою беременность, ее повесят, хотя бы ребенок был сейчас жив или, напротив, родился мертвым.

– Вот именно, – сказал Сэдлтри. – Их величества король и королева ввели этот статут для того, чтобы женщины не рожали тайно. Преступление это пользуется особым вниманием закона, ибо оно, так сказать, порождено законами.

– Раз закон рождает преступления, – сказала миссис Сэдлтри, – пусть за них и вешают закон. А еще бы лучше – законников. Тут уж никто слова не скажет!

Появление служанки, позвавшей супругов к их скромной трапезе, прервало разговор, который грозил принять менее благоприятный оборот для Фемиды и ее жрецов, чем вначале ожидал их горячий поклонник, мистер Бартолайн Сэдлтри.

²⁶ В просторечии (*лат.*).

²⁷ Из засады (*лат.*).

Глава VI

*И весь поднялся Эдинбург –
Восстали тысячи людей.*

Джонни Армстронг. «Доброй ночи»

Выйдя из «Золотой кобылы», Батлер отправился разыскивать одного своего приятеля, служившего в суде, надеясь выведать у него все подробности дела несчастной молодой женщины, упомянутой в предыдущей главе; ибо – как, вероятно, уже догадался читатель – он имел более веские основания интересоваться ее судьбой, нежели простое человеколюбие. Приятеля не оказалось дома; подобную же неудачу он потерпел, отыскивая еще двух-трех лиц, в которых он надеялся вызвать сочувствие к несчастной. Все были заняты делом Портеуса и с пеной у рта доказывали: одни – что правительству следовало, другие – что не следовало его миловать. При этом у спорщиков так пересохло в глотке, что добрая половина молодых стряпчих и даже писцов – а их-то именно и разыскивал Батлер – перенесла дебаты в свой излюбленный трактир. Некий искусный математик вычислил, что за этими спорами было выпито такое море эля, что можно было бы спустить крупный военный корабль.

Батлер бродил по улицам до сумерек, желая, чтобы его посещение несчастной заключенной было возможно менее замечено, – у него были причины опасаться зорких глаз миссис Сэдлтри, чья мастерская находилась неподалеку от ворот тюрьмы, хотя и на противоположной, южной стороне улицы. Ему пришлось поэтому пройти узким крытым переходом, который идет от северо-западного угла Парламентской площади.

Наконец он очутился перед готическими воротами старинной тюрьмы, которая, как известно, возвышается посередине Хай-стрит, завершая собой большую группу зданий, носящую название Лакенбут, которыми наши предки, неизвестно зачем, перегородили главную улицу города, оставив для прохода лишь узенькую улочку с севера, а с южной стороны – куда выходит тюрьма – столь же узкий извилистый проулок, пролегающий между высокими мрачными стенами Толбута и соседних с ним домов с одной стороны и стенами старого собора – с другой.

Этот мрачный проход (известный под названием Креймса) несколько оживляется маленькими лавчонками, которые лепятся к готическим выступам и контрфорсам, занимая каждое углубление подобно гнездам стрижей в стенах Макбетова замка. Теперь там остались одни игрушечные лавки, где ребятишки подолгу засматриваются на заманчиво выставленных деревянных лошадок, кукол и голландские игрушки, хоть и робеют перед хмурым, иссохшим стариком или старухой в больших очках, которые владеют и распоряжаются этими сокровищами. Но в описываемые нами времена в этом узком проходе можно было найти и чулочников, и перчаточников, и шапочников, и модисток, словом – всех, кто поставляет товары, именуемые ныне галантерейными.

Вернемся, однако, к нашему рассказу. Батлер подошел к наружным воротам тюрьмы как раз тогда, когда привратник, высокий, тощий старик с длинными седыми волосами, уже готовился их запереть. Батлер попросил пропустить его к Эффи Динс, обвиненной в детоубийстве. Привратник с большим вниманием оглядел его и, почтительно притронувшись к шапке в знак уважения к черному сюртуку и духовному сану Батлера, отвечал, что «сейчас никого впускать не велено».

– Вы, должно быть, запираете раньше обычного из-за происшествия с капитаном Портеусом? – спросил Батлер.

Привратник дважды кивнул с важным и таинственным видом и, вынув из замочной скважины увесистый ключ фута в два длиною, задвинул ее стальной дощечкой, запиравшейся на пружину и задвижку. Батлер постоял перед дверью, пока ее запирали, а затем, взглянув на часы, поспешно зашагал по улице, рассеянно повторяя про себя:

Против огромные двери, столбы адамантовой тверди,
Мощь коих мужей вовек и сами всевышние в бое
Не сокрушили б, стоит железная башня до неба...^{28[29]}

Потратив еще полчаса на тщетные попытки найти своего судейского приятеля и советчика, он решил возвратиться домой, в небольшое селение, милях в трех к югу от Эдинбурга. В ту пору шотландская столица была окружена высокой зубчатой стеной со множеством выступов; в нее входили через несколько ворот, которые на ночь всегда запирались. Правда, за известную мзду вход и выход были возможны в любой час, для чего в воротах была проделана особая калитка; но бедняку вроде Батлера даже такой расход был нежелателен. Боясь не опоздать к закрытию городских ворот, он поспешил к тем, до которых было ближе, хотя и удлинял этим свой путь до дому. Выйдя через Бристо-порт, он скорее добрался бы домой, но теперь ему ближе до Западных ворот на площади Грассмаркет. Туда он и направился. Он успел вовремя достичь ворот и уже вышел в предместье Портсбург, населенное преимущественно ремесленниками, как вдруг неожиданное препятствие преградило ему путь.

Едва выйдя за ворота, он услышал бой барабана и с удивлением увидел, что навстречу ему быстро двигается, заполняя всю улицу, большая толпа, предшествуемая барабанщиком. Пока он размышлял, как ему лучше обойти эту процессию, не предвещающую ничего доброго, она поравнялась с ним и остановила его.

– Вы священник? – спросили его.

Батлер отвечал, что он священник, но не имеет прихода.

– Это мистер Батлер из Либбертона, – послышался голос из толпы. – Вполне подходящий для нас человек.

– Вам придется вернуться с нами в город, – сказал первый вежливо, но твердо.

– Для чего, друзья мои? – спросил Батлер. – Я живу за городом, а на дорогах по ночам грабят. Задерживая меня, вы подвергаете меня опасности нападения.

– Вас проводят до дому, и ни один волос не упадет с вашей головы, а сейчас вы должны идти с нами.

– Но с какой целью? – спросил Батлер. – Я надеюсь, вы потрудитесь объяснить, зачем я вам нужен.

– Это вы узнаете в свое время. Идемте. Не пойдете добром – поведем силой. Да смотрите не оглядывайтесь по сторонам и не всматривайтесь в наши лица. Считайте, что все это снится вам во сне.

«Хорошо бы в таком случае поскорее проснуться», – подумал Батлер; но, не имея возможности оказать сопротивление, он вынужден был повернуть обратно в город и идти во главе процессии между двух человек, которые поддерживали и вместе с тем крепко держали его.

Пока велись переговоры с Батлером, восставшие овладели Западными воротами, отняв ключи у привратника. Они заперли ворота на засов и приказали привратнику запереть также и калитку, которую не сумели запереть сами. Привратник, перепуганный неожиданными событиями, так дрожал, что тоже не смог справиться с этой обычной своей обязанностью. Тогда мятежники, у которых все было, видимо, предусмотрено, зажгли факелы и при свете их забили калитку длинными гвоздями, которыми, очевидно, запаслись заранее.

²⁸ Перевод В. Брюсова.

Батлер тем временем поневоле успел разглядеть некоторых из тех, кто, казалось, руководил восстанием. Свет факелов, озаряя их лица и оставляя в тени самого Батлера, позволял ему наблюдать их незаметно. Некоторые из вожаков были в матросской одежде и шапках; другие – в широкополых шляпах и длинных свободных рединготах; некоторых по одежде можно было счесть за женщин, если бы они не выдавали себя грубыми голосами, высоким ростом и мужскими ухватками. Они явно действовали по заранее составленному плану. У них были условные знаки и прозвища, по которым они отличали друг друга. Батлер услышал имя Уайлдфайр, на которое откликнулась одна из рослых амазонок.

Мятежники оставили нескольких человек охранять Западные ворота, а привратнику под страхом смерти приказали не выглядывать из сторожки и до утра не пытаться завладеть воротами. Затем они быстро двинулись по улице Каугейт, сзывая народ барабанным боем. Каугейтские ворота были захвачены ими с той же легкостью и также заперты и оставлены под небольшой охраной. Разительным примером их осмотрительности, соединенной с величайшей дерзостью, было то, что караулы, поставленные охранять ворота, не оставались на месте; они расхаживали взад и вперед, не отдаляясь от ворот, чтобы никто не попытался отпереть их, но и не давая себя разглядеть. Толпа, которая вначале насчитывала какую-нибудь сотню людей, увеличилась до нескольких тысяч и с каждой минутой росла. Ради более быстрого продвижения по узким переулкам, ведущим от Каугейт к Хай-стрит, мятежники разделились на несколько отрядов; продолжая бить в барабаны и сзывать всех истинных шотландцев, они заполнили главную улицу города.

Ворота Незербау можно было бы назвать эдинбургским Темпл-Баром. Преграждая Хай-стрит у ее конца, они отделяют собственно Эдинбург от предместья Кэнонгейт, подобно тому как лондонские ворота Темпл-Бар отделяют Лондон от Уэстминстера. Захват этих ворот представлял для мятежников чрезвычайную важность, ибо в Кэнонгейте в ту пору стоял пехотный полк под командованием полковника Мойла, который, войдя через ворота Незербау, мог занять город и разрушить их планы. Поэтому главари восстания поспешили к этим воротам, овладели ими так же легко, как и другими, и, ввиду их важности, поставили там усиленный караул.

Следующим делом восставших было разоружить городскую стражу и таким образом добыть себе оружие; ибо до тех пор они были вооружены одними лишь кольями и дубинками. Городская стража помещалась в длинном, низком и уродливом здании (снесенном в 1787 году); человеку с живым воображением оно могло напомнить длинную черную улитку, которая выползла на середину Хай-стрит и портит вид этой великолепной улицы. Грозное восстание было столь неожиданным, что на дежурстве оказался только обычный отряд городской стражи под командой сержанта; да и тот не имел нужного запаса пуль и пороха. Отлично понимая, что вызвало грозу и на кого она надвигается, солдаты едва ли стремились оказать сильное сопротивление столь многочисленной и ожесточенной толпе, которой они в тот день были особенно ненавистны.

Все же один из часовых (единственный солдат городской стражи, выполнивший свой долг в ту памятную ночь) взял на караул и велел передним рядам мятежников отойти. Юная амазонка, замеченная Батлером в числе предводителей восстания, бросилась на часового и после некоторой борьбы вырвала у него мушкет, а его самого повалила на землю. Еще два солдата, которые попытались прийти на помощь своему товарищу, были обезоружены таким же образом, и толпа без труда овладела казармами, обезоружив и разогнав остальных солдат. Надо заметить, что хотя именно городская стража была повинна в убийствах, вызвавших мятеж, с ней поступили весьма гуманно. Казалось, народные мстители гнушались мелкою местью, приберегая свой гнев для того, кого считали главным своим обидчиком.

Захватив казармы, мятежники прежде всего прокололи барабаны, опасаясь, что их могут использовать, чтобы подать сигнал тревоги гарнизону крепости; из тех же опасений они заста-

вили смолкнуть и своего барабанщика – на эту должность у них был завербован сынишка барабанщика из Портсбурга. Затем наиболее отважным из мятежников были розданы мушкеты, байонеты, протазаны, алебарды и боевые топоры. До тех пор предводители восстания не называли вслух свою цель, хотя она и была всем понятна. Теперь же, выполнив всю подготовительную часть своего плана, они испустили грозный клич: «Портеус! Портеус! Все к темнице!»

Уже почти достигнув цели, восставшие продолжали тем не менее соблюдать ту же осторожность, что и вначале, когда успех был сомнителен. Крупный отряд их выстроился перед Лукенбутом, закрывая к нему доступ с востока; такой же отряд замкнул другой конец прохода, обращенный на запад, так что Толбут оказался полностью окруженным и те, кто хотел ворваться туда, могли действовать без помех.

Отцы города между тем всполошились и собрались в одной из таверн, чтобы предпринять какие-либо действия против мятежников. Обратились к цеховым старшинам, но те заявили, что ремесленники вряд ли послушают их – так велика была ненависть к Портеусу. Депутат парламента мистер Линдсей взял на себя опасное дело – передать на словах полковнику Мойлу, командиру полка, стоявшего в предместье Кэнонгейт, приказ прорваться в город через ворота Незербау для подавления мятежа. Однако мистер Линдсей отказался передавать какой-либо письменный приказ, который мог стоить ему жизни, в случае если бы он был задержан мятежниками. В результате полковник Мойл, не получив письменного распоряжения от городских властей и видя на примере Портеуса, как сурово относится суд к самовольным действиям офицеров, счел слишком рискованным для себя выступить на основании одного лишь устного распоряжения лорда-мэра.

Несколько посланцев были разными путями отправлены в крепость, к командиру гарнизона, с приказанием привести войска или выстрелить из орудий в воздух и даже в толпу, чтобы очистить улицы. Но патрули мятежников были столь бдительны, что ни один из этих посланцев не добрался до крепости. Однако им не причинили никакого вреда и лишь заставили повернуть обратно, предложив не повторять своих попыток.

Та же бдительность была проявлена и для того, чтобы помешать состоятельным горожанам, к которым восставшие не питали доверия, появляться на улицах, наблюдать за действиями восставших и напоминать их в лицо. Патрули останавливали каждого хорошо одетого человека и уговаривали или приказывали ему вернуться откуда пришел. Множество карточных столов пустовало в тот памятный вечер; мятежники задерживали даже портшезы знатных дам, невзирая на лакеев в галунах и скороходов с факелами. В отношении перепуганных женщин неизменно проявлялась вежливость, какую трудно было ожидать от разъяренной черни. Останавливая экипаж, патрули говорили, что, ввиду беспорядков на улицах и ради собственной безопасности, даме следует вернуться домой. Они вызывались сопровождать экипаж, видимо опасаясь, чтобы случайные люди, приставшие к их рядам, не скомпрометировали продуманного плана мщения обычными в подобных случаях выходками.

Еще живы люди, слышавшие из уст дам, задержанных таким образом, что они были доставлены домой и высажены из экипажа с вежливостью, которой никак нельзя было ожидать от простых ремесленников, какими они казались по обличию²⁹. Казалось, что мятежники, как некогда убийцы кардинала Битона, были убеждены, что исполняют приговор Неба, хотя и не утвержденный земными судьями, но требующий торжественного и строгого порядка.

Пока сторожевые посты у ворот исправно выполняли свои обязанности, не поддаваясь ни страху, ни любопытству, а сильные отряды оберегали восставших от нападения с запада и востока, главарь мятежников властно постучали в ворота тюрьмы, требуя, чтобы их немед-

²⁹ Одна близкая родственница автора рассказывала ему, как она была задержана мятежниками и доставлена домой. У дверей ее дома один из провожатых, по виду – подмастерье пекаря, помог ей выйти из портшезы и отвесил на прощание такой поклон, какому, по мнению дамы, трудно было научиться в пекарне. (*Примеч. авт.*)

ленно открыли. Никто не отозвался, ибо привратник вместе с ключами давно уже благоразумно скрылся неизвестно куда. Тогда были пущены в ход кузнечные молоты, ломы и специально припасенные лемеха от плугов. Однако все попытки взломать или разбить двери долго оказывались тщетными: двойные дубовые ворота, обитые вдоль и поперек гвоздями с огромными шляпками, не так-то легко было взломать. Но решимость мятежников была велика. Они сменяли друг друга у ворот, ибо трудиться над ними одновременно могли лишь несколько человек, – однако поначалу лишь напрасно истощали свои силы, не достигая цели. Сюда привели и Батлера, поставив его так близко, что он едва не оглох от неумолчного грохота тяжелых молотов, ударявших в ворота. Видя задержку, он начал надеяться, что толпа откажется от своего намерения или же будет наконец разогнана. Была минута, когда последнее казалось весьма вероятным.

Городские власти, собрав офицеров стражи и тех из горожан, кто отважился рисковать собой ради восстановления спокойствия, выступили наконец из таверны, где они заседали, и двинулись к месту беспорядков. Впереди шли стражники с факелами и глашатай, который в случае надобности должен был прочесть закон о бунтах. Они легко справились со сторожевыми постами и разведчиками, но, подойдя к мощной сторожевой линии, которой толпа – или, вернее, повстанцы – перегородила улицу перед Лукенбутом, они были встречены сперва градом камней, а затем – заграждением из пик, байонетов и боевых топоров, которые мятежникам удалось добыть. Кто-то из стражников, решительный малый, выступил вперед, схватился с одним из мятежников и отнял у него мушкет, однако, не получив поддержки от своих, он тут же был сбит с ног и, в свою очередь, обезоружен. Не помня себя от радости, что с ним не поступили хуже, он поспешил встать и уйти. Это опять-таки может служить примером удивительного сочетания непримиримости к главному врагу и гуманности в отношении остальных. Отцы города, после тщетных попыток заставить толпу выслушать их и повиноваться и не имея в своем распоряжении более мощных средств, вынуждены были оставить поле боя за мятежниками и поспешно отступить под градом камней.

Неприступные ворота темницы оказались более серьезным препятствием для мятежников, чем вмешательство городских властей. Тяжелые кузнечные молоты продолжали безостановочно бить по воротам, и этот грохот, гулко отдававшийся от высоких стен окружающих зданий, неминуемо должен был поднять на ноги крепостной гарнизон. Среди мятежников пронесся слух, что необходимо торопиться, так как против них будут посланы войска, а то и просто дан залп из крепостных орудий.

Подгоняемые этими опасениями, они все чаще сменяли друг друга, но на редкость крепкие ворота не поддавались их усилиям. Наконец раздался голос: «Поджечь!» Мятежники тотчас громко потребовали горючего; и так как все их желания, по-видимому, немедленно исполнялись, возле них скоро оказалось несколько бочек из-под смолы. Вскоре у самых ворот ярко пылал огромный костер; высокий столб дымного пламени, взлетая к зарешеченным окнам и верхушкам старинных башен, освещал свирепые лица мятежников и бледные, испуганные лица обывателей, наблюдавших страшное зрелище из окон соседних домов. Толпа подбрасывала в костер все, что могло гореть. Щедро питаемое, пламя гудело и трещало, и скоро яростный крик известил о том, что ворота загорелись и вскоре сгорят совсем. Костер перестали поддерживать, но задолго до того, как он погас, наиболее нетерпеливые из мятежников уже начали перепрыгивать через него. Всякий раз, когда кто-нибудь из них, прыгая, задевал за тлеющие угли, в воздух высоко взлетали снопы искр. Батлеру и всем другим очевидцам событий стало ясно, что мятежники очень скоро доберутся до своей жертвы и смогут учинить над нею все, что захотят.

Глава VII

– Гнусности, которым вы меня учите, я применяю к делу – и кажется мне, что я превзойду своих учителей.
«Венецианский купец»^{30[30]}

Злополучный виновник этих беспорядков был в тот день избавлен от грозившей ему публичной казни, и радость его была тем сильнее, что он уже начинал сомневаться, захочет ли правительство вступаться за человека, уже осужденного приговором суда и виновного в действиях, столь ненавистных народу. Теперь, после пережитых страхов, он ликовал, и – говоря словами Писания, относящимися к подобному случаю, – думал, что горечь смерти миновала его. Кое-кто из его друзей, наблюдавших поведение толпы, когда пришла весть о помиловании, был иного мнения. Из необычного сурового молчания, которым толпа встретила эту весть, они заключили, что готовится отмщение, и посоветовали Портеусу, не медля ни минуты, просить перевести его под надежной охраной в крепость и там, в безопасности, ожидать окончательного решения своей судьбы. Но Портеус, привыкший к мысли, что народ трепещет перед ним, не хотел верить, что он отважится на штурм неприступной темницы; презрев совет, который был бы для него спасением, он пожелал в тот же вечер устроить пирушку для друзей, которые навещали его в тюрьме. Начальник Толбута, старый его приятель, с которым его часто сводили дела службы, позволил им остаться поужинать, хоть это и было нарушением тюремного распорядка.

В этот-то час неуместного и преждевременного веселья, когда несчастный грешник был разгорячен вином и бахвальством, к пьяным крикам гостей примешались первые отдаленные звуки надвигавшейся грозы. Значение этих страшных звуков стало ясно пирующим, когда прибежавший впопыхах тюремщик потребовал, чтобы гости немедленно уходили, и сообщил, что разъяренная толпа овладела городскими воротами и казармами городской стражи.

Портеус мог еще избежать ярости толпы, от которой его не могли защитить власти, если бы догадался переодеться и выйти из тюрьмы вместе со своими гостями. Возможно, что тюремщик посмотрел бы на побег сквозь пальцы, а то и вовсе не заметил бы его в суматохе. Но ни у Портеуса, ни у его друзей не хватило на это находчивости. Последние поспешили прочь, опасаясь за себя, а Портеус впал в какое-то оцепенение и пассивно ожидал в своей камере исхода событий. Когда смолкли удары молотов, которыми сперва пробовали разбить тюремные ворота, у него на мгновение отлегло от сердца. Однако надежды его на то, что в город вступили войска из крепости или из предместья, а мятежники оробели и отступили, скоро развеялись при виде багрового пламени, которое, осветив сквозь решетчатое окно все углы его камеры, показало, что толпа, твердая в своем роковом намерении, избрала более верный путь овладеть темницей.

Внезапно вспыхнувшее пламя подсказало обезумевшему предмету народного гнева возможность скрыться. Он бросился к камину и, рискуя задохнуться, полез в трубу, показавшуюся ему единственным путем к спасению; однако путь этот был тут же прегражден железной решеткой, которой в местах заключения предусмотрительно снабжены все отверстия. Зато прутья этой решетки, не пуская его дальше, позволили ему держаться в трубе на весу, и он мертвой хваткой вцепился в эту последнюю надежду на спасение. Зловещий отблеск пламени, освещавший камеру, побледнел и угас; теперь крики раздавались уже внутри здания и на узкой винтовой лестнице, которая вела в верхние этажи. Эти дикие крики ликования были подхвачены заключенными, которые надеялись в суматохе вырваться из темницы и приветствовали толпу как своих освободителей. Они-то и указали врагам Портеуса, где искать его. Замок и болты

³⁰ Перевод П. Вейнберга.

были мигом сбиты, и несчастный слышал из своего тайника, как враги его обыскивали камеру с ругательствами и проклятиями, которые мы не будем приводить, чтобы не ужасать читателя, но которые доказывали, если это еще требовало доказательств, как непреклонна была решимость расправиться с Портеусом.

Место, где спрятался Портеус, было слишком заметным, чтобы не привлечь внимания. Его вытащили из убежища с такой яростью, точно собирались покончить с ним немедленно. Ножи уже засверкали над его головой, но тут властно вмешался один из мятежников – тот самый, который привлек внимание Батлера своим женским нарядом.

– С ума вы сошли! – крикнул он. – Хотите вершить правосудие, а сами действуете как убийцы! Жертва должна быть принесена на алтаре, иначе она теряет свой смысл. Пусть он умрет как преступник – на виселице. Пусть умрет там, где он пролил столько невинной крови.

Предложение это было встречено громкими возгласами одобрения.

– Повесить убийцу! На площадь его! – раздалось со всех сторон.

– А сейчас оставьте его, – продолжал тот же человек. – Пусть он покается, если может.

Не будем вместе с телом губить и душу.

– А много ли времени он давал для покаяния другим людям, получше его? – крикнуло несколько голосов. – Отплатим ему той же мерой!

Однако первое мнение пришлось больше по вкусу толпе, которая проявляла, скорее, упорство, чем ярость, и не прочь была придать своему жестокому мщению видимость справедливости и умеренности.

Говоривший поручил пленника надежной охране; ему разрешили отдать имевшиеся при нем деньги и вещи кому он пожелает. Портеус дрожащей рукой вручил их одному заключенному, сидевшему в тюрьме за долги; ему позволили сделать и другие распоряжения.

Заключенные получили возможность выйти на свободу; освобождение их не входило в планы мятежников, но явилось неизбежным следствием штурма тюрьмы. Одни присоединились к толпе с громкими криками радости, другие разбежались по темным закоулкам, возвращаясь в потайные притоны порока и преступлений, где они обычно скрывались от правосудия.

Не считая двух или трех должников, которым было ни к чему скрываться, в мрачных стенах тюрьмы остались только мужчина лет пятидесяти и молодая девушка лет восемнадцати. Эти двое продолжали сидеть в опустевшей общей камере. Один из недавних товарищей по несчастью окликнул мужчину тоном старого знакомого:

– Что же ты не бежишь, Рэтклиф? Все двери открыты.

– Это я вижу, Уилли, – невозмутимо отозвался Рэтклиф. – Ну а если я надумал уйти на покой и стать честным человеком?

– Так оставайся и дожидайся виселицы, старый дурак! – крикнул его собеседник, сбегая по лестнице.

Тем временем мятежник, переодетый женщиной, которого мы уже видели в первых рядах восставших, приблизился к молодой девушке.

– Беги, Эффи, беги! – успел он шепнуть.

Она бросила на него взор, в котором смешались изумление и ужас, укор и нежность.

– Беги же, Эффи, ради всего святого! – повторил он.

Она вновь посмотрела на него блуждающим взором, не в силах ответить. Тут послышался сильный шум, и снизу несколько раз прокричали имя Мэдж Уайлдфайр.

– Иду, иду! – крикнул человек, откликавшийся на это имя. Еще раз поспешно проговорив: – Ради Бога, ради себя, ради меня, беги или простишься с жизнью! – он выбежал из каземата.

Девушка поглядела ему вслед и, прошептав: «Если пропала честь, пусть пропадает и жизнь», – уронила голову на руки и словно окаменела, не замечая окружающего шума и суматохи.

Шум перекинулся теперь за стены Толбута. Толпа вывела свою жертву за ворота и готовилась вести ее на площадь, чтобы там предать казни. Вожак, отзывавшийся на имя Мэдж Уайлдфайр, присоединился к своим соратникам, нетерпеливо ожидавшим его.

– Хотите пятьсот фунтов? – сказал злосчастный Портеус, цепляясь за его руку. – Пятьсот фунтов – только спасите мне жизнь.

Неумолимая рука сжала его руку словно тисками.

– Пятьсот мешков золота – и те не спасут тебя! – был суровый ответ. – Вспомни Уилсона!

После некоторого молчания Уайлдфайр добавил более спокойно:

– Молись-ка лучше Богу. Эй, позвать сюда священника!

Перепуганный Батлер, которого держали у тюремных ворот все время, пока длились поиски Портеуса, был немедленно приведен и получил приказ идти рядом с осужденным и готовить его к смерти. Батлер стал умолять мятежников одуматься.

– Ведь вы не судьи и не присяжные, – сказал он. – По какому же закону, земному или небесному, вы лишите жизни человека, хотя бы он и заслуживал смерти? Ведь даже законные власти казнят преступника не иначе как по приговору судей, а вы делаете это по своему произволу! Именем милосердного Бога заклинаю вас: смилуйтесь над несчастным, не обгарьте рук ваших кровью, не совершайте того самого преступления, за которое хотите покарать его!

– Нечего нам проповедовать, тут не церковь! – ответил один из мятежников.

– Поговори еще! – закричал другой. – Живо вздернем и тебя с ним рядом!

– Спокойствие! – сказал Уайлдфайр. – Не трогайте доброго человека! Он говорит как ему велит совесть – это я уважаю.

Тут он обратился к Батлеру:

– Мы вас терпеливо слушали, сэр, теперь послушайте, что я скажу: отговаривать нас бесполезно, скорее вас послушают камни и решетки Толбута. Кровь за кровь! Мы поклялись страшными клятвами, что Портеус примет заслуженную смерть. Не тратьте же больше слов, а исповедуйте его, пока есть время.

Так как злосчастный Портеус, думая бежать через трубу, снял с себя одежду и башмаки, ему теперь разрешили облачиться в халат и туфли. В этом облачении его посадили на сплетенные руки двоих из мятежников; этот род носилок зовется в Шотландии «королевской подушкой». Батлеру велели идти рядом, возложив на него самую тягостную для всякого достойного священника обязанность, особенно тягостную в этих страшных обстоятельствах. Портеус сперва умолял о пощаде, но, видя, что его никто не слушает, покорился своей участи, призвав на помощь свою солдатскую выдержку и врожденное упрямство.

– Готовы ли вы к смерти? – спросил дрожащим голосом Батлер. – Обратите сердце ваше к Тому, для Кого нет времени и пространства, для Кого один миг равен целой жизни, а жизнь коротка, как мгновение.

– Я знаю наперед все, что вы скажете, – угрюмо ответил Портеус. – Мое дело солдатское. Если меня убьют безо времени, пусть кровь моя и все мои грехи падут на головы убийц.

– А кто говорил, – раздался суровый голос Уайлдфайра, – кто говорил Уилсону на этом самом месте, когда он не мог помолиться, – так ты стянул ему руки кандалами, – что, мол, готовиться осталось недолго? Узнал теперь, каково это? Не хочешь исповедаться этому достойному пастору – тем хуже для тебя, а мы поступаем с тобой милосерднее, чем ты поступал с другими.

Процессия медленно, но решительно продвигалась вперед. Множество пылающих факелов освещало ей путь; вершители народного мщения не только не таились, но, казалось, напротив, выставляли свои действия напоказ. Главари восстания тесно окружали пленника, которого несли высоко над головами толпы, освещая факелом его бледное, но упрямое лицо. По обе стороны его шествовали те, кто был вооружен мечами, мушкетами и боевыми топорами, как бы образуя стражу. Из окон выглядывали обыватели, разбуженные необычным шумом. Часть зрителей выражала одобрение, большинство, однако, было настолько ошеломлено диковинным

зрелищем, что могло лишь тупо созерцать его. Никто не попытался вмешаться ни словом, ни делом.

Мятежники тем временем действовали все с тем же спокойствием и достоинством. Когда с пленника свалилась туфля, шествие остановилось, туфлю нашли и надели ему на ногу. Когда проходили по Боу, кто-то предложил припасти веревку. Взломали лавку торговца канатами, выбрали подходящий для их цели кусок, а наутро хозяин обнаружил на прилавке гинею, оставленную в уплату. Словом, мятежники всячески стремились показать, что ни в чем не намерены нарушать закон и чинить какое-либо насилие, кроме как над самим Портеусом. Все с той же суровой решимостью, ведя или, вернее, неся с собой объект своего мщения, они достигли площади, где он пролил невинную кровь, а теперь должен был расплатиться за нее. Несколько мятежников, которых следовало бы, скорее, назвать заговорщиками, принялись освобождать заваленное камнем углубление, куда обычно вставлялся роковой столб, когда выполнял свое страшное назначение; другие искали, из чего бы соорудить временную виселицу, ибо настоящая была убрана, спрятана за крепкими запорами и доставать ее не было времени. Пользуясь этой задержкой, Батлер попытался еще раз отговорить толпу.

– Во имя Господа! – воскликнул он. – Помните, что вы собираетесь уничтожить образ и подобие Божие... Как ни грешен этот человек, а все же и ему Писанием обещано спасение; убивая его без покаяния, вы лишаете его вечной жизни. Не губите вместе с телом и душу; дайте ему время приготовиться к смерти.

– А много ли времени, – раздался суровый голос, – он давал тем, кого он убивал на этом самом месте? По всем законам, божеским и человеческим, он должен умереть.

– Но, друзья мои, – настаивал Батлер, отважно рискуя собственной жизнью, – кто поставил вас судьями над ним?

– Не мы его судим, – отвечал тот же голос. – Он уже осужден и приговорен законным судом. А народ восстал в праведном гневе, чтобы привести этот приговор в исполнение, раз продажные наши правители прикрывают убийцу.

– Я не убийца, – сказал несчастный Портеус, – я только прибегнул к самозащите при исполнении своих обязанностей.

– Кончать с ним скорее! Кончать! – раздался общий крик. – Нечего и виселицу сколачивать! Вон шест красильщика – довольно с него и этого!

Несчастливого повлекли на смерть с безжалостной поспешностью. Батлер, оттесненный от него толпой, к счастью, не увидел последних его содроганий. Никто из недавних стражей теперь не пытался задержать Батлера, и он бежал от рокового места, не раздумывая, куда держит путь. Громкий крик удовлетворения возвестил о суровом торжестве, с каким мстители свершили свое дело. Батлер, который в это время уже достиг улицы Каугейт, в ужасе оглянулся и при тусклом багровом свете факелов различил фигуру, судорожно дергающуюся над головами толпы, и нескольких человек, ударявших по ней топорами и протазанами. Зрелище это удвоило его ужас и придало стремительность его бегу.

Улица, по которой он бежал, вела к одним из восточных ворот города. Батлер добежал до них не останавливаясь, но они оказались еще запертыми. Он прождал перед ними около часу, расхаживая взад и вперед в сильном волнении. Наконец он решился позвать напуганных привратников, которые могли теперь беспрепятственно исполнять свои обязанности. Батлер потребовал отпереть ворота. Они колебались. Он назвал свое имя и свой сан.

– Это проповедник, – сказал один из привратников. – Я как-то слышал его в Хэд-доуз-хоул.

– Хорошими делами занимался проповедник нынешней ночью! – промолвил другой. – Но лучше, пожалуй, поменьше болтать об этом.

Отперев калитку, сделанную в воротах, они выпустили Батлера, который поспешил унести свой ужас и страх за стены Эдинбурга. Сперва он решил немедленно идти домой; но

затем другие соображения и опасения – и прежде всего известия, услышанные им в тот памятный день, – побудили его остаться до утра в окрестностях города. Еще до рассвета его начали обгонять группы людей, которые, судя по необычному часу, поспешным шагам и осторожному перешептыванию, были причастны к недавним роковым событиям.

Одной из примечательных черт этих событий было то, что мятежники рассеялись сразу и бесследно, как только мщение было свершено. Каков бы ни был мотив, побуждающий толпу к восстанию, достижение ближайшей цели бывает обычно лишь сигналом к дальнейшим бесчинствам. Но не так было на этот раз. Мщение, которого они так упорно и умело добивались, казалось, вполне удовлетворило восставших. Убедившись, что жертва их не обнаруживает признаков жизни, они разошлись, тут же побросав оружие, взятое ими лишь для этой цели. Наутро единственными следами ночных событий было тело Портеуса, все еще висевшее на площади, и оружие, отнятое мятежниками у городской стражи и брошенное прямо на улицах, как только надобность в нем миновала.

Городские власти вновь вступили в свои права, со страхом сознавая, однако, всю их непрочность. Первым их делом, когда они вышли из оцепенения, было ввести в город войска и начать строгое следствие по поводу ночных событий. Но все действия мятежников отличались таким точным расчетом, обдуманностью и осторожностью, что властям ничего или почти ничего не удалось узнать о зачинщиках дерзкого предприятия. Послали курьера в Лондон, где привезенные им вести вызвали крайнее изумление и негодование совета регентства и особенно королевы Каролины, которая усмотрела в успехе этого заговора прямой вызов своей власти. Она только и говорила, что о суровых наказаниях участникам мятежа, когда они будут обнаружены, а также городским властям, допустившим подобное, и самому городу, где подобное могло произойти. Сохранилось предание, что в порыве особого раздражения ее величество сказала прославленному герцогу Аргайлу, что скорее превратит всю Шотландию в пустошь для охоты, чем простит подобное оскорбление.

– В таком случае, государыня, – ответил с глубоким поклоном смелый вельможа, – мне придется проститься с вашим величеством и ехать домой спускать своих собак.

Скрытый смысл этих слов не ускользнул от королевы; и так как шотландская знать и дворянство в большинстве своем обнаружили тот же национальный дух, монаршее неудовольствие поневоле должно было смягчиться, и против мятежников были приняты менее суровые меры, о которых мы еще будем иметь случай сообщить читателю.

Глава VIII

*Седло Артура – мой приют,
Водой Антоньева ручья
Я буду жажду утолять –
Любовь отвергнута моя.*

Старинная песня

Нельзя выбрать лучшего места, чтобы любоваться восходом или закатом солнца, чем уединенная тропа, огибающая высокое полукружие скал, называемых Солсберийскими утесами, и идущая по краю крутого спуска в лощину с юго-восточной стороны Эдинбурга. С этой тропы открывается то панорама тесно застроенного города, очертания которого романтическому воображению могут напомнить дракона; то красивейший морской залив со скалами, островками и дальним гористым берегом; то великолепная плодородная равнина, чередующаяся с холмами и окаймленная живописным гребнем Пентлендских холмов. По мере того как тропа мягкими извилами ведет вокруг подножия утесов, все эти восхитительные картины непрерывно сменяются и предстают зрителю вместе или поочередно в самых разнообразных сочетаниях, какие могут радовать глаз и воображение. Когда же этот пейзаж, столь прекрасный, как и разнообразный, столь пленительный в своих подробностях и столь величавый в целом, освещается красками утренней и вечерней зари, когда на нем сменяются свет и тени, преобразующие даже самый скромный ландшафт, – картина становится поистине волшебной. Тропа эта была излюбленным местом моих утренних и вечерних прогулок, куда я приходил с книгой любимого автора или с новым предметом занятий. Сейчас, как я слышал, тропа стала совершенно непроходимой; если это правда, то это не делает чести вкусу нашего города и его правителей³¹.

На этом-то очаровательном месте, связанном для меня со столькими сладостными мечтами и юношескими надеждами на счастье, что я не мог удержаться от пространного описания, – на этой-то романтической тропе застал Батлера солнечный восход наутро после убийства Портеуса. Он легко мог бы достичь своей цели более кратким путем, вместо того чтобы избирать, как он это сделал, самый длинный. Но, желая собраться с мыслями, а также дожидаться часа, когда он мог прийти к своим друзьям, не напугав их, он решил направиться в обход утесов.

Покуда он, скрестив руки, созерцает медленно восходящее над горизонтом солнце или присаживается на один из многочисленных обломков, которые бури оторвали от утесов, нависших над его головой; покуда он размышляет то над жуткой трагедией, свидетелем которой оказался, то над печальными известиями, взволновавшими его в мастерской Сэдлтри, – расскажем читателю, кто такой Батлер и каким образом судьба его оказалась связана с судьбой несчастной Эффи Динс, бывшей служанки домовитой госпожи Сэдлтри.

Рубен Батлер был родом из англичан, хоть и родился в Шотландии. Дед его сражался в войсках Монка^[31] и был одним из тех пеших драгун, которые в 1651 году штурмовали Данди. Этот Стивен Батлер (за особую начитанность в Писании и умение толковать его прозванный Батлером Книжником) был ревностным индипендентом^[32] и вполне буквально понимал обещание, что праведные наследуют царствие земное. Поскольку при дележе этого наследства на долю его выпадали до тех пор одни лишь невзгоды, он решил не упускать случая и при взятии

³¹ Недавно вдоль этих романтических утесов была проложена красивая и удобная дорога. Автору приятно думать, что эти строки послужили тому причиной. (Примеч. авт.)

и разграблении богатого торгового города поспешил захватить возможно большее количество земных благ. Это ему, видимо, в какой-то мере удалось, ибо с тех пор дела его сильно поправились.

Отряд Батлера стоял в деревне Далкейт, составляя личную охрану генерала Республики Монка, помещавшегося в соседнем замке. Когда накануне Реставрации генерал начал свое чреватое последствием отступление из Шотландии, он заново сформировал свои войска, в особенности же охрану, желая иметь при себе только вполне преданных людей. Стивен Книжник оказался для этого неподходящим. Ему не могло быть по душе предприятие, угрожавшее власти Господнего воинства; совесть не позволяла ему оставаться в войсках, которые могли, чего доброго, признать Карла Стюарта, сына «последнего человека», как непочтительно именовали индпенденты Карла I и в частной беседе, и в проповедях. Просто отделаться от таких несогласных было нельзя, и Стивену Батлеру дружески посоветовали отдать коня и амуницию одному из старых мидлтоновских солдат с более покладистой совестью, который оглядывался только на командира и полкового казначея. Совет сопровождался изрядной суммой в уплату жалованья, и у Стивена хватило житейского благоразумия принять и то и другое; он равнодушно простился со своим старым полком, который двинулся в Колдстрим, а оттуда на юг, чтобы на новых началах укрепить расшатанные основы английской государственности.

Говоря словами Горация^[33], пояс бывшего воина был достаточно тяжел, чтобы он смог приобрести домик и два-три земельных участка (которые донине носят библейское название «Вирсавия»^[34]) неподалеку от Далкейта. Там и поселился Стивен с молодой женой, избранной им среди местных невест, которая ради земных благ примирилась с угрюмым нравом, строгими правилами и морщинистым лицом воинственного фанатика. Стивен не надолго пережил наступление «злых дней» и засилье «злых языков», на которые так грустно жаловался в подобном же положении Мильтон^[35]. Молодая вдова осталась с трехлетним ребенком мужского пола, который своим благонравным поведением, старообразной и мрачной физиономией и сентенциозной манерой выражаться неоспоримо доказывал супружескую верность вдовы, если б кому-либо вздумалось усомниться в законности этого отпрыска Батлера Книжника.

Пуританские убеждения Стивена Батлера не были унаследованы его семьей и не распространились по соседству. Почва Шотландии не благоприятствует индпендентству, хотя на ней и процветает фанатизм других толков. Однако ему все припомнили. Один из местных лэрдов, похвалявшийся своей верностью короне «в тяжелые времена» (хотя я что-то не слышал, чтобы он пострадал за нее, если не считать, что два раза дрался и ночевал в караульной, когда его верноподданнический пыл подогревался винными парами), решил возвести на покойного Стивена всевозможные обвинения. Видное место в этом списке он отвел религиозным воззрениям, очевидно, потому, что его собственные были крайне неясны. За несогласие с господствующей церковью бедная вдова подверглась штрафам и всем другим тогдашним притеснениям, пока усадьба ее не перешла в руки ее безжалостного преследователя. Достигнув своей цели, лэрд обнаружил признаки раскаяния или веротерпимости – пусть читатель назовет их как ему угодно – и разрешил вдове по-прежнему проживать в доме и арендовать у него клочок земли на условиях не слишком тяжелых. Тем временем сын вдовы, Бенджамен, вырос и, повинувшись естественному человеческому влечению, которое пробуждается даже у неимущих, ввел в свой бедный дом жену, а затем обзавелся и сыном – Рубеном.

До той поры лэрд Дамбидайкс умерял свои требования, может быть, потому, что совесть была больше с несчастной, обездоленной вдовы. Когда же арендатором оказался молодой, крепкий парень, лэрд решил, что его широкие плечи выдержат и не такое бремя. Вообще он поступал со своими арендаторами (по счастью, немногочисленными), как возчики соседних угольных копей, которые наваливали на воз добавочную пару центнеров клади всякий раз, когда им удавалось заменить новой, несколько более сильной лошадей ту, которая накануне издохла в оглоблях. Последователю этого мудрого принципа не мешало бы знать, что

тут легко перегнуть палку, а тогда неизбежно гибнут и лошадь, и телега, и груз. Так и произошло, когда Бенджамену Батлеру были предъявлены дополнительные требования. Человек немногословный и недалекий, но привязанный к «Вирсавии», как растение к родной почве, он не пытался ни спорить с лэрдом, ни уклоняться от поборов; работая день и ночь, чтобы выплачивать аренду, он свалился в горячке и умер. Жена не надолго его пережила; сиротство, казалось, было в этой семье обычным уделом, и в 1704 или 1705 году наш знакомец Рубен Батлер остался, как некогда отец его, сиротою, на попечении своей бабки, вдовы старого солдата Республики^[36].

То же разорение грозило другому арендатору жестокосердного лэрда. Это был убежденный пресвитерианин по фамилии Динс, который тоже был ненавистен лэрду своими религиозными и политическими убеждениями, но удерживал за собой ферму тем, что исправно платил и с земли, и с птичника, и за перевозку, и за помол, и снопами, и мукою – словом, нес все повинности, ныне замененные денежными и сведенные к страшным словам *арендная плата*. Но 1700 и 1701 годы, памятные в Шотландии неурожаем и голодом, сломили крепкий дух сельского вига. Судебные повестки, постановления баронского суда, описи домашней утвари посыпались на него, как некогда пули ториев сыпались на ковенантеров при Пентленде, Босуэлбридже и Эрс-моссе. Почтенный Дэвид Динс боролся мужественно и упорно, но был разбит наголову и оказался в полной власти своего алчного помещика; это было как раз когда умер Бенджамен Батлер. Обеим семьям предстояла ужасная судьба, и только случайное обстоятельство спасло их от выселения и нищенской суммы.

В тот самый день, когда их должны были выбросить на улицу и все соседи приготовились сочувствовать, но ни один не собирался помочь, приходский священник и врач из Эдинбурга были спешно призваны к изголовью лэрда Дамбидайкса. Оба были удивлены, ибо насмешки по адресу их профессий были излюбленной темой лэрда за каждой лишней бутылкой, то есть, по меньшей мере, ежедневно. Оба лекаря – для тела и для души – прибыли в старую усадьбу почти одновременно. Поглядев друг на друга с некоторым удивлением, они согласно выразили уверенность, что Дамбидайксу, должно быть, очень худо, раз он призвал их к себе. Прежде чем их позвали в комнату больного, к ним присоединился юрист Нихил Новит, именовавшийся прокурором суда шерифа, ибо в те времена присяжных стряпчих еще не существовало. Этот последний был первым вызван в спальню лэрда, куда через несколько минут были приглашены и оба лекаря – для тела и для души.

Дамбидайкса к тому времени перенесли в парадную опочивальню, отпиравшуюся только по случаю свадьбы или смерти и называемую поэтому покойницей. Кроме самого больного и мистера Новита, там находился сын лэрда, высокий, нескладный малый лет пятнадцати, с придурковатым выражением лица, и экономка, пышная особа лет сорока с лишним, ведавшая ключами и всеми делами в Дамбидайксе после смерти хозяйки дома. Ко всем этим лицам лэрд обратился со следующей бессвязной речью, – думы о вечности и мирские заботы причудливо перемешались в голове, никогда не отличавшейся ясностью мыслей:

– Худо мне, соседи, – хуже, чем в восемьдесят девятом, когда студенты помяли мне бока. Только напрасно они меня называли папистом – никогда я им не был, слышишь, пастор? А ты, Джок, примечай – пришла для меня пора платить долг – этот долг никого не минует, – а Нихил Новит тебе скажет, любил ли я долги платить... Ты, Новит, не забудь собрать ренту по графскому обязательству – раз я плачу долг, пусть и мне его платят, по справедливости. А ты, Джок, когда нечего делать, хоть деревья сажай, что ли, пока будешь спать, они и вырастут. Это мне еще отец говорил, сорок лет назад, а я так и не успел. И смотри, Джок, не пей бренди натошак, желудок испортишь. Уж если пить натошак, так пей травную настойку, наша Дженни хорошо ее делает. Ох, доктор, дышать нечем – задыхаюсь, как волынщик, когда он сутки подряд дудит на деревенской свадьбе... Поправь подушки, Дженни, – или нет, не надо,

теперь уже не к чему... А у тебя, пастор, нет ли каких молитв покороче? Побормотал бы что-нибудь, может, полегчает или хоть тоску разгонит...

– Молитва не стишки, – сказал честный священник, – если хотите спасти свою душу от погибели, лэрд, надо открыть мне, что у вас на душе.

– Это ты без меня должен знать, – отвечал больной. – За что же я с самого восьмидесяти девятого года плачу десятину да церковный сбор? Раз в жизни попросил заваливающую молитву, так и той жалко! Ступай отсюда, чертов виг, если нет от тебя толку! Старый викарий Килстоуп за это время уже полмолитвенника надо мной прочел бы. Пошел прочь! Доктор, может, ты хоть чем-нибудь поможешь?

Врач, успевший расспросить экономку относительно состояния больного и его жалоб, ответил, что медицина бессильна продлить его жизнь.

– Так убирайтесь оба к черту! – закричал в бешенстве больной. – Для того вас звали, чтобы вы помочь отказались? Дженни! Гони их в шею! Джок! Проклянью тебя проклятием Кромвеля, если ты им хоть копейку дашь, хоть рукавицы подаришь!

Священник и врач поспешили удалиться, а Дамбидайкс разразился потоком брани и проклятий.

– Дженни, давай сюда бренди, сука ты этакая! – крикнул он, корчась от злобы и боли. – Умру, как жил, обойдусь без них... Одно только, – продолжал он, понизив голос, – одно не дает мне покоя, и этого не зальешь целым бочонком бренди... Динсы в «Вудэнде»... Я у них ферму отобрал в неурожайный год, им теперь с голоду умирать... То же самое и «Вирсавию»... у солдатской вдовы с внуком. С голоду умрут, с голоду!.. Выгляни-ка наружу, Джок, каково на дворе?

– Снег так и валит, – ответил невозмутимо Джок, выглянув наружу.

– Вот их и занесет снегом, – сказал умирающий грешник. – Вот они и замерзнут... Зато мне жарко будет, если верить попам...

Последнее было сказано тихо, но таким тоном, который даже стряпчего заставил содрогнуться. Вероятно, впервые в жизни он попытался выступить в роли духовного утешителя и посоветовал лэрду облегчить свою совесть и возместить ущерб, нанесенный несчастным семьям, что на языке закона называется *restitutio in integrum*³². Однако корысть, слишком долго владевшая душой лэрда, все еще боролась в ней с совестью и частично победила, ибо старую власть нелегко свергать.

– Не могу, – произнес он с отчаянием. – Ох, смерть моя!.. Как мне вернуть деньги? Они мне самому нужны... Как возратить «Вирсавию», когда она как раз между моих владений? Нельзя им быть у разных хозяев... Нет, Нихил, умру, а не отдам!..

– Умирать вам и так приходится, – сказал мистер Новит. – Может, и умирать легче будет. Попробуйте... А я бы мигом составил дарственную...

– Нет, и не говори, и не заикайся, – отвечал Дамбидайкс, – а то как запущу кружкой в голову! Джок, видишь, что отцу твоему приходится терпеть на смертном одре? Так ты не обижай Динсов и Батлеров, слышишь, Джок? Не давай людям сесть тебе на шею, но и не дрони имения... А главное, не отдавай «Вирсавию». Пусть их остаются жить, ты много с них не бери, может, за это твоему отцу грехи простятся...

Сделав эти противоречивые распоряжения, лэрд почувствовал такое облегчение, что выпил подряд три кружки бренди и «кончился», как выразилась Дженни, пытаясь спеть «К черту попов!».

Смерть его оказалась счастливым поворотом в судьбе несчастных арендаторов. Новый лэрд Дамбидайкс тоже был скуп и себялюбив, но ему не хватало отцовской настойчивости, а опекун его, к счастью, был того мнения, что последняя воля умирающего должна быть испол-

³² Полное возмещение (лат.).

нена. Арендаторов не выбросили на снег и позволили им в поте лица добывать себе снятое молоко и гороховые лепешки, как положено по условиям библейского проклятия. Ферма Динса «Вудэнд» была недалеко от «Вирсавии». До той поры обе семьи мало общались между собой. Динс был истый шотландец, сильно предубежденный против англичан и их отродья. К тому же он был, как мы уже говорили, ревностным пресвитерианином самого строгого толка и неуклонно держался того, что считал единственным верным путем между правыми крайностями и левыми ересями; поэтому он чурался индпендентов и всех, кого считал к ним близкими.

Однако, несмотря на национальные предрассудки и религиозную рознь, Динсы и вдова Батлер оказались в таком положении, которое неизбежно должно было сблизить их семьи. Они вместе подвергались опасности и вместе ее избегли. Они нуждались друг в друге. Так путники, переходящие горный поток, вынуждены держаться вместе, чтобы не быть порознь унесенными могучим течением.

Короче узнав своих соседей, Динс частично отказался от своих предубеждений. Оказалось, что старая миссис Батлер хотя и не вполне уразумела всю гнусность современных ересей, но вовсе не склоняется к индпендентству; к тому же она была шотландкой. Можно было надеяться, что хотя сама она была вдовою кромвелевского капрала, внук ее не вырастет еретиком или врагом шотландской независимости, – а обе эти категории людей внушали Динсу тот же священный ужас, что паписты и роялисты. Но, главное, почтенный Дэвид Динс, не лишенный тщеславия, заметил, что вдова Батлер взирала на него с уважением, прислушивалась к его мнениям и смиренно терпела нападки на веру покойного мужа, к которой, как мы уже знаем, не питала особого пристрастия, ради ценных хозяйственных советов, получаемых от пресвитерианина насчет ее маленькой фермы. Последние обычно заканчивались словами: «Может, в Англии оно и не так делается», или: «Это по-нашему, а уж как оно в чужих землях – не знаю», или еще: «Кто толкует наш ковенант вкривь и вкось и ставит все вверх дном в нашей церкви, разбивая резные алтари нашего Сиона^[37], те, может быть, посеяли бы тут овес, а я говорю: горох!» Советы его были дельны и разумны, хотя и звучали высокомерно; поэтому они принимались с благодарностью и выполнялись неукоснительно.

Дальнейшее сближение обитателей «Вирсавии» и «Вудэнда» произошло благодаря детской дружбе между Рубеном Батлером, с которым читатель успел уже несколько познакомиться, и Джини Динс, единственной дочерью почтенного Дэвида Динса от первой жены – «женщины редкого благочестия», как он говорил, «памятной всем, кто ее знал» – Христианы Мензис из Хохмагирдла. Об этой дружбе и ее последствиях и пойдет у нас теперь речь.

Глава IX

*Рубен и Рейчел, как бы ни любили,
Всегда в любви благоразумны были.
Как ни старался резвый Купидон,
Рассудка их не мог осилить он.
Они бедны. Любовью безрассудной
К чему отягощать свой жребий трудный?*

Крабб. «Приходские списки»

Вскоре стало очевидно, что в той борьбе, которую вдова и вдовец вели с нуждой и скудной почвой жалких участков, доставшихся им на землях Дамбидайкса, Динс сумеет одержать победу, а вдова обречена на поражение. Он был мужчина, и еще крепкий, а она – женщина преклонного возраста. Правда, со временем положение должно было бы измениться, ибо у старухи подрастал помощник внук, тогда как Джини Динс, будучи девочкой, могла, по-видимому, оказаться для своего отца только обузой. Но почтенный Дэвид Динс знал, что делал: он так воспитал свою любимицу, – как он называл ее, – что она с малых лет постоянно была занята каким-либо посильным трудом и росла серьезной, твердой и рассудительной, чему способствовали также ежедневные отцовские поучения. Ее на редкость здоровая натура, чуждая нервической слабости, не знавшая болезней, которые вместе с физическими подтачивают и душевные силы, также содействовала созданию характера решительного и стойкого.

Рубен, напротив, был слабого сложения и болезненно чувствителен, хотя от природы не робок. В нем было нечто от матери, которая умерла в чахотке еще совсем молодою. Это был бледный, хрупкий, слабенкий мальчик, к тому же немного хромавший после несчастного случая в детстве. Он был избалован обожавшей его бабкой и поэтому излишне самолюбив, но вместе с тем не самостоятелен и не уверен в себе, что является одним из наиболее вредных следствий избалованности.

Однако дети тянулись друг к другу не только по привычке, но и по склонности. Они вместе пасли нескольких овец и двух-трех коров, которых выгоняли отыскивать скудный корм на неогороженном лугу Дамбидайкса. Когда надвигалась темная туча, они вместе пережидали дождь под кустом цветущего дрока, прижавшись друг к другу и укрывшись одним пледом. Они вместе ходили в школу; надо ли было перепрыгнуть ручей, лежавший на пути, или отбиться от собак, или преодолеть иную опасность – Джини всегда оказывала своему спутнику ту помощь, которую обычно сильный пол оказывает слабому. Зато на школьной скамье Рубен настолько же превосходил Джини остротой ума, насколько она превосходила его здоровьем, выносливостью и хладнокровием, и мог, в свою очередь, помогать ей не меньше, чем она в других случаях помогала ему. В маленькой приходской школе он был первым учеником, но благодаря своей кротости вызывал у шумной школьной братии, скорее, восхищение, чем зависть, хотя и был любимцем учителя. Немало девочек (в Шотландии они учатся вместе с мальчиками) охотно приголубили бы болезненного мальчика, превосходившего умом всех своих товарищей. Рубен Батлер был создан, чтобы возбуждать и участие и восхищение, то есть именно те чувства, из которых рождается привязанность женщин, по крайней мере лучших из них.

Однако Рубен, от природы замкнутый и сдержанный, не стремился к этому. Зато к Джини он привязывался все больше. Восторженные похвалы учителя пробудили в нем честолюбие и внушили надежду, что он не пропадет в жизни. Правда, успехи в учении (а для сельской школы они были поразительны) все больше мешали Рубену помогать бабушке на ферме. Углу-

бившись в Эвклидов *pons asinorum*³³, он не замечал, как обыкновенные ослы забирались в горох лэрда Дамбидайкса, и только проворство Джини и ее собачки Дастифут предотвращало крупные убытки и связанное с ними возмездие. Изучение гуманитарных наук также сопровождалось неприятностями. Начитавшись «Георгик»^[38] Вергилия, он перестал отличать овес от ячменя, а попытавшись хозяйствовать по методам Колумеллы^[39] и Катона Цензора^[40], едва совсем не загубил бабушкину ферму.

Эти промахи огорчали бабуку Рубена и роняли его в глазах его соседа Динса.

– Не будет толку из этого дурачка, соседка, – сказал он старухе, – разве что пустить его по духовной части. В наши времена неверия хорошие проповедники нужны – ох как нужны! Сердца людские стали жестче мельничных жерновов и глухи к божественному. А ваш паренек ни в какое дело не годится, кроме как проповедовать слово Божье. Я уж постараюсь исхлопотать ему место, когда он достойно к нему подготовится. Даст бог, станет опорой истинной церкви, не погрязнет в ересях, но воспарит над ними, подобно голубю, хоть и вырос среди еретиков.

Бедная вдова смиренно выслушала укор по адресу мужа, заключенный в этом совете, и поспешила взять Рубена из школы, чтобы определить в университет для изучения математики и богословия – единственных признаваемых в то время наук.

Джини Динс пришлось расстаться с товарищем своих детских игр, и разлука эта была их первым недетским горем. Но они были молоды, полны надежд и уповали на встречу в более счастливые времена.

Пока Рубен Батлер готовился в университете Сент-Эндрюс к духовному званию и изнурял тело лишениями, как подобает тем, кто алчет духовной пищи, бабушка его совсем выбилась из сил и вынуждена была отдать ферму новому лэрду Дамбидайксу. Эта важная особа не вовсе была лишена совести, он заключил сделку на терпимых условиях. Он даже разрешил старухе остаться в доме, где она жила с мужем, «покуда он не развалится», и только отказался чинить его, ибо щедрость его была чисто пассивного свойства.

Дэвид Динс между тем преуспел; благодаря смекалке, умению и некоторым чисто случайным удачам он утвердился в жизни, нажил кое-какой достаток, прослыл еще более зажиточным, чем был на деле, и почувствовал склонность беречь и умножать свое имущество – греховная слабость, за которую он не раз себя укорял.

Его познания в земледелии заслужили ему расположение лэрда, который, не находя удовольствия в охоте и в светских развлечениях, привык ежедневно заезжать к Динсу в «Вудэнд».

Не будучи ни умен, ни речист, Дамбидайкс мог полчаса просидеть или простоять с пустой трубкой во рту и старой отцовской шляпой на голове, не спуская глаз с Джини, или «девчурки», как он ее называл, которая в это время хлопотала по хозяйству. Тем временем отец ее, истощив темы пахоты, бороньбы и скотного двора, частенько пускался в богословские контроверзы, которые помещик выслушивал терпеливо, но в полном молчании и даже, как уверяли люди, ни слова в них не понимая. Динс, правда, отрицал это предположение, одинаково оскорбительное как для его умения излагать истины религии, которым он немало гордился, так и для умственных способностей лэрда.

– Дамбидайкс, – говорил он, – это не то что разные вертопрахи, все в позументах, со шпагой на боку, которые готовы скорее в ад, да верхом, чем в рай босиком. Он не в отца – не кутит, не сквернословит, не пьет, не пляшет, не шатается по игорным притонам, чтит день воскресный и не стоит за безбожные присяги и прочие утеснения веры. Чрезмерно привязан к земным благам, это правда, но не отказывается преклонить слух к поучениям. – И честный Дэвид верил всему, что говорил.

³³ Ослиный мост (лат.).

Вряд ли отец, да еще такой проницательный, мог не замечать, что лэрд не спускает глаз с Джини. Еще раньше заметил это другой член семьи – а именно вторая жена Дэвида, которую он ввел в свой дом лет через десять после смерти первой. Люди говорили, что, должно быть, почтенного Дэвида женили против воли, ибо вообще он не был сторонником браков, считая их необходимым злом, которое, конечно, узаконено и должно быть терпимо ввиду слабости нашей плоти, но подрезает духовные крылья, на коих надлежит воспарять высоко, и приковывает душу к ее брэнной оболочке и к земным привязанностям. В этом пункте, однако, убеждения расходились у него с делом, ибо сам он, как мы видим, дважды связал себя этими опасными и греховными узами.

Жена Динса, Ребекка, отнюдь не разделяла его отвращения к браку. Она любила мысленно устраивать свадьбы всех соседей и, разумеется, начала пророчить женитьбу Дамбидайкса на своей падчерице Джини. При всяком упоминании об этом хозяин дома хмурился и отмахивался, но затем обычно брался за шапку и уходил из дома, чтобы скрыть улыбку удовольствия, которая неволью разливалась по его суровому лицу.

Мои молодые читатели, конечно, спросят, насколько Джини была достойна молчаливого поклонения лэрда Дамбидайкса; из уважения к истине летописец вынужден ответить, что внешность Джини не представляла собой ничего особенного. Она была невелика ростом и несколько плотна; у нее были серые глаза, белокурые волосы и круглое добродушное лицо, сильно загорелое; подлинно прелестным в ней было лишь выражение безмятежной кротости – следствие чистой совести, доброты, довольства окружающим и сознания исполняемого долга. Ничто во внешности и манерах нашей сельской героини не должно было бы, казалось, внушать робость. Но то ли из застенчивости, то ли из боязни решиться на столь важный жизненный шаг, а только лэрд Дамбидайкс, в своей старой шляпе и с пустой трубкой, день за днем и год за годом приходил любоваться на Джини Динс и не спешил исполнить пророчества ее мачехи.

У доброй женщины появилась особая причина для нетерпения, когда она сама родила почтенному Дэвиду дочь, которую окрестили Юфимией, а дома звали Эффи. Вот тут-то Ребекку стала раздражать медлительность лэрдова сватовства, ибо она справедливо рассудила, что леди Дамбидайкс обойдется без приданого и имущество Динса достанется, таким образом, дочери от второго брака. Многие мачехи и не то еще делали, чтобы расчистить своим детям путь к наследству; Ребекка, надо отдать ей справедливость, хотела обеспечить свою Эффи, устроив в то же время, как она была уверена, счастье ее старшей сестры. Она пустила в ход все доступные ей нехитрые уловки, чтобы заставить лэрда объясниться, но с огорчением убедилась, что ее усилия, как у неумелого рыболова, только спугнули форель, которую она стремилась поймать. Однажды, пошутив с лэрдом насчет необходимости завести у него в доме хозяйку, она так основательно напугала его, что трубка, шляпа и их глубокомысленный обладатель не появлялись в «Вудэнде» целых две недели. Ребекка вынуждена была предоставить лэрду по-прежнему двигаться черепашьям шагом, на опыте убедившись, что могильщик был прав: сколько осла ни погоняй, он шибче не пойдет^[41].

Рубен между тем успешно учился в университете, одновременно передавая полученные знания младшим студентам, и таким образом не только зарабатывал на жизнь, но и закреплял в своей памяти основы наук. Как принято среди бедных студентов-богословов в Шотландии, он обеспечивал этим собственные скромные потребности и даже посылал деньги домой, единственной оставшейся у него родне – бабушке; а это священный долг, которым редко пренебрегает шотландец. Он сделал весьма значительные успехи в богословии и других науках, но из-за своей скромности и неумения показать товар лицом не смог особенно выдвинуться. Если бы Батлер любил жаловаться, он многое мог бы порассказать о несправедливостях, неудачах и обидах. Но он никогда не говорил об этом из скромности или из гордости, а может быть, того и другого вместе.

Наконец он получил диплом проповедника, а с ним похвальный отзыв пресвитера, но должности при этом не получил и вынужден был до времени поселиться в «Вирсавии», не имея более верных доходов, чем уроки, которые давал в нескольких семьях по соседству. Едва вернувшись к своей престарелой бабушке, он поспешил в «Вудэнд», где Джини, не забывшая его, встретила его радостно и сердечно. Ребекка – гостеприимно, а старый Динс – на свой лад.

При всем своем уважении к духовенству в целом, почтенный Дэвид жаловал далеко не каждого представителя этого сословия. Не без некоторой досады и зависти увидя своего юного соседа в высоком сане проповедника и учителя, он тотчас начал испытывать его на спорных вопросах, чтобы проверить, не впал ли тот в какую-нибудь из многочисленных ересей. Но Батлер был тверд в принципах пресвитерианства и к тому же не стал бы огорчать своего старого друга, перечисляя ему по пустякам. Он мог, следовательно, надеяться с честью выдержать предложенное Дэвидом испытание. Однако на сурового старика он произвел не столь благоприятное впечатление, какого можно было ожидать. Старая Джудит Батлер в тот вечер сама приковыляла к соседу, чтобы выслушать поздравления по поводу возвращения Рубена и похвалы его учености, которой она так гордилась, и была несколько обижена равнодушием своего старого друга Динса. Поначалу он не выражал неодобрения, а просто молчал; когда же Джудит приступила к нему вплотную, между ними произошел следующий разговор:

– Я-то думала, сосед Динс, что вы будете рады моему бедному Рубену.

– Что ж, я рад, – был краткий ответ.

– У него ведь нет ни отца, ни деда – Бог дал, Бог и взял, да святится имя Его! – вы ему были вместо отца, сосед Динс.

– У сирот единый отец – Господь Бог, – сказал Динс, притрагиваясь к шапке и возводя глаза кверху. – Воздавайте богово Богу, а не недостойному орудию Его.

– Будь по-вашему, сосед, вам ведь лучше знать. А помню, как вы посылали нам в «Вирсавию» муки, когда у вас у самих в закромах ничего не было... А то еще...

– Пустое! – перебил ее Дэвид. – Пустые похвалы, которые только питают нашу гордыню. Я стоял возле святого мужа Александра Педена^[42], когда он учил, что даже страдания и смерть наших блаженных мучеников – лишь капля в море по сравнению с истинным долгом христианина. Где уж мне, недостойному, выполнить его как должно!

– Будь по-вашему, сосед Динс. Вы скажите только – рады вы моему внучку? Глядите, он и хромать перестал, разве когда много ходит, и в лице румянец на радость старой бабке; а каков черный сюртук? Не хуже, чем у священника.

– Очень рад видеть его в добром здоровье, – отрезал Динс, как бы желая положить конец разговору. Но не так-то легко отвлечь женщину от избранного ею предмета.

– И ведь подумать только, – продолжала миссис Батлер, – что мой внучек может теперь говорить с амвона. И всякий должен его слушать, что твоего Папу Римского...

– Кого, кого, несчастная? – суровее обычного произнес Динс, едва лишь ненавистные слова коснулись его ушей.

– О Господи! – сказала бедная старуха. – Я и позабыла, что вы против Папы. Так, бывало, и мой покойник. Всегда, помню, лютовал против Папы, против крещения младенцев и всего такого.

– Женщина! – внушительно проговорил Динс. – Лучше уж замолчи, чем говорить о том, чего не смыслишь. Говорят тебе: индипендентство есть гнусная ересь, а анабаптизм^[43] – преступное заблуждение, которое надо истреблять огнем духовной власти и мечом властей светских.

– Я что ж? Я ничего, – покорно согласилась Джудит. – Вы всегда окажетесь правы – взять хоть посев, хоть жатву, хоть стрижку овец... Так, верно, и в церковных делах. Вот только внучек мой Рубен...

– Рубену я желаю добра, – сказал торжественно Дэвид, – не менее, чем родному сыну. Боюсь только, что он не сразу найдет верный путь. Ему много отпущено, а снизойдет ли на него благодать? Уж слишком он набрался светской премудрости. Форма сосуда занимает его не менее, чем пища, в нем содержащаяся; брачный хитон он хочет украсить галунами и позументом. Он возгордился светской ученостью, благодаря которой может облачать слово Божье в соблазнительные одежды. Впрочем, – добавил Динс, видя огорчение старухи, – жизнь еще поучит его. Сейчас его раздуло от спеси, как корову с мокрого клевера. Но как знать? Он может исправиться и стать истинным светильником церкви. Дай-то Бог вам поскорее дожить до этого.

С тем и ушла вдова Батлер; речи соседа, хоть и непонятные, наполнили ее неизъяснимым страхом за внука и сильно омрачили радость свидания с ним. Справедливость требует отметить, что Батлер в разговоре с соседом постарался блеснуть ученостью более, чем требовал случай, а это не могло быть по нраву старику, который привык рассуждать о спорных богословских проблемах как признанный знаток и был несколько уязвлен, когда против него были двинуты ученые авторитеты. Учение, по правде сказать, сделало Батлера несколько педантом, и ему случалось выставлять свою ученость напоказ без особой к тому надобности.

Джини Динс, однако, не нашла в этом ничего дурного, а, напротив, пришла в восхищение; не по той ли причине, по какой слабый пол восхищается отвагою, то есть тем именно качеством, которого недостает им самим? Соседство доставляло молодым людям случай часто видеться. Прежняя их близость возобновилась, но теперь в основе ее лежала не дружба, а иное чувство, более свойственное их возрасту; между ними было решено, что они поженятся, как только Батлер получит хоть самую скромную, но постоянную должность. Этого, однако, нельзя было ожидать в ближайшем будущем. Много было передумано, и все планы отвергнуты. Круглые щечки Джини утратили свежесть первой молодости, на чело Рубена легла печать зрелости, а надежды на брак все еще казались отдаленными. К счастью для влюбленных, чувство их не было пламенной страстью; сознание долга, сильное в них обоих, помогало им терпеливо сносить бесконечные задержки.

Время между тем несло с собой обычные перемены. Вдова Стивена Батлера, так долго возглавлявшая семью в «Вирсавии», отошла в лучший мир; Ребекка, хлопотливая супруга нашего приятеля Дэвида Динса, также скончалась, так и не увидев свершения своих брачных планов. Наутро после ее кончины Рубен Батлер отправился выразить соболезнование своему старому другу и благодетелю. Тут он оказался свидетелем борьбы между земной привязанностью и религиозным стоицизмом, который вдовец считал для себя обязательным во всех ниспосылаемых ему горестях или радостях.

Когда Батлер вошел к Динсам, заплаканная Джини указала ему на садик, откуда – горестно прошептала она – «бедный отец так и не выходил после своего несчастья». Батлер, несколько встревоженный, вышел в сад и подошел к своему старому другу, который сидел в маленькой беседке и казался погруженным в глубокую скорбь. Он сурово взглянул на Батлера, словно негодуя на вторжение, но, увидя, что молодой человек в нерешимости остановился, он встал и двинулся ему навстречу с большим самообладанием и достоинством.

– Молодой человек, – сказал он, – не будем печалиться о смерти праведных, ибо истинно сказано, что они лишь покидают юдоль скорбей. Пристало ли мне проливать слезы о моей жене, когда не хватит моря слез, чтобы оплакать бедствия нашей несчастной церкви, оскверненной равнодушными и честолюбцами?

– Я счастлив, – промолвил Батлер, – что вы способны позабыть о своем горе в заботах о делах общественных.

– Позабыть? – сказал бедный Динс, поднося платок к глазам. – Да я ее вовек не позабуду. Но тот, кто послал горе, ниспосылает и целительный бальзам. Нынешнюю ночь я по временам так погружался в думы, что не сознавал своей потери. Со мною было как с достойным Джоном

Семплом^[44], прозванным Джон из Карсфарна, перенесшим подобное же испытание. Я провел ночь у руки Улай, срывая плоды.

Несмотря на эту кажущуюся твердость, которую Динс считал христианским долгом, он глубоко переживал свою тяжелую утрату. «Вудэнд» стал ему невыносим; имея хозяйственный опыт и некоторые средства, он решил завести молочную ферму на новом месте. Он избрал для этого местечко Сент-Леонард-Крэгс, расположенное между Эдинбургом и горой Артурово Седло^[45] и имевшее по соседству просторные пастбища – некогда заповедники для королевской дичи, которые до сих пор носят название Королевского парка. Здесь он арендовал уединенный домик, который в то время стоял в полумиле от города, а сейчас находился бы со всеми прилегающими к нему угодьями на юго-восточной окраине. У сторожа Королевского парка он арендовал для своих коров обширный соседний луг. Трудолюбивая Джини усердно взялась за новое хозяйство, стараясь сделать его как можно более доходным.

Ей теперь реже удавалось видеться с Рубеном, которому после множества разочарований пришлось удовольствоваться скромной должностью помощника учителя в приходской школе в нескольких милях от города. Здесь он отлично показал себя и познакомился с несколькими именитыми горожанами, которые ради здоровья своих детей или по иным причинам давали им начальное образование в этой сельской школе. Дела его, таким образом, понемногу шли на лад, о чем он успевал шепнуть Джини всякий раз, когда навещал ее в Сент-Леонарде. Посещения эти были весьма редки, ибо школа оставляла Батлеру мало досуга. К тому же он и сам не смел навещать часто, даже когда имел на это время. Динс встречал его учтиво и даже ласково; но Рубен, как это всегда бывает в подобных случаях, воображал, будто его намерения можно прочесть у него на лице, и боялся, как бы преждевременное объяснение не повлекло за собой решительного отказа. Словом, он считал благоразумным посещать Сент-Леонард не чаще, чем позволительно старому другу и соседу. Зато там бывал другой, более частый посетитель.

Когда Дэвид Динс уведомил лэрда Дамбидайкса о своем намерении покинуть дом и ферму в «Вудэнде», последний только молча выпучил глаза. Посещения его продолжались в обычный час до последнего дня. Когда начались сборы и большой семейный буфет, вытасканный из своего угла, стал боком в дверях, точно неуклюжий парень, который не знает, когда ему уходить, лэрд снова вытаращил глаза и произнес: «Эге!» Уже после отъезда Динсов лэрд в обычный свой час, – а именно в тот час, когда Дэвид возвращался с пашни, – появился у дверей дома в «Вудэнде» и казался безмерно удивленным, найдя их запертыми, словно мог ожидать чего-то другого. На этот раз он воскликнул: «Господи помилуй», что было у него знаком необычайного волнения. С этого времени Дамбидайкс сильно переменялся; все его привычки и весь размеренный образ жизни пришли в полное расстройство, точно часовой механизм, в котором мальчишка сломал пружину. Уподобившись стрелке сломанных часов, Дамбидайкс с непривычной для него быстротой начал совершать полные обороты вокруг своих владений. Не было дома, куда бы он не зашел, не было девушки, на которую бы он не тарачил глаза. Но хотя на его землях были фермы получше «Вудэнды» и, уж конечно, нашлись бы девушки покрасивее Джини Динс, время у лэрда почему-то не было так приятно заполнено, как раньше. Нигде не сиделось ему так уютно, как на ларе в «Вудэнде», и ни на кого не хотелось смотреть, кроме Джини Динс. Покрутившись таким образом вокруг своей оси, а затем пробыв целую неделю в неподвижности, он сообразил, что, в отличие от часовой стрелки, обреченной вращаться вокруг одной точки, он имеет возможность более свободно перемещаться в пространстве. Для осуществления этой возможности он купил пони у горца-коневода и с его помощью добрался до Сент-Леонарда.

Хотя Джини так привыкла к своему молчаливому поклоннику, что обычно едва замечала его присутствие, у нее порой возникали страхи, как бы он однажды не высказал словами того восхищения, которое до тех пор выражал одними взглядами. Прощай тогда все надежды, думала она, на брак с Батлером. При всей смелости и независимости своих политических и

религиозных убеждений, отец ее не был лишен почтения к помещику, глубоко коренившегося в тогдашнем шотландском крестьянине. Нельзя сказать, чтобы он не любил Батлера, но его частые нападки на светскую ученость молодого человека, быть может, вызванные завистью, не свидетельствовали об особой благожелательности. Наконец, брак дочери с Дамбидайксом имел немалую прелесть для того, кто всегда признавал главным грехом своим тяготение к земным благам. В общем, ежедневные посещения лэрда были неприятны Джини из-за их возможных последствий; при прощании с родными местами немалым утешением служила ей мысль, что она больше не увидит ни Дамбидайкса, ни его шляпы и трубки. Бедная девушка скорее поверила бы, что капуста или яблони, посаженные ею в «Вудэнде», самостоятельно переберутся за нею на новое место, чем стала бы ждать подобной прыти от лэрда. Вот почему она гораздо более изумилась, чем обрадовалась, когда на шестой день после их переезда в Сент-Леонард Дамбидайкс предстал перед нею вместе со шляпой и трубкой, произнес обычное приветствие: «Ну, как ты, Джини? Где отец?» – и уселся на новом месте почти так же, как сиживал столько лет в «Вудэнде». Не успел он усесться, как с необычайной для него говорливостью прибавил:

– А знаешь что, Джини... – Тут он протянул руку как бы для того, чтобы взять ее за плечо, но так застенчиво и неуклюже, что когда она увернулась, рука его так и застыла с растопыренными пальцами, напоминая лапу геральдического грифа. – Знаешь, Джини, – продолжал влюбленный лэрд, на которого явно снизошло вдохновение, – на дворе-то ведь благодать! Уж и дороги просохли!

– Какой бес в него вселился? – пробормотала про себя Джини. – Кто бы мог подумать, что этот чурбан притащится в этакую даль?

Впоследствии она признавалась, что обошлась с ним довольно сурово: отца не было дома, а «чурбан», как она непочтительно обозвала помещика, так разошелся, что от него можно было ждать чего угодно.

Ее суровость подействовала успокоительно; лэрд с того дня стал по-прежнему молчалив и навещал Динсов по три-четыре раза в неделю, если позволяла погода, по-видимому, с единственной целью: глядеть на Джини Динс и слушать рассуждения почтенного Дэвида относительно пагубного вероотступничества.

Глава X

*Всем по сердцу она. Ее манеры,
Любезность и застенчивость – все в меру.
Ее веселый и задорный смех
И простодушие пленяли всех.*

Крабб

Посещения лэрда снова стали обычным делом, не вызывающим опасений. Если бы влюбленный мог очаровать свою красавицу, как змея, говорят, очаровывает птичку упорным взглядом больших и глупых зеленых глаз, которым теперь иногда уже требовались очки, Дамбидайкс, несомненно, одержал бы победу. Но, как видно, искусство завораживать принадлежит к числу *artes perditae*³⁴; и упорные взгляды лэрда, насколько мне известно, не вызывали у Джини ничего, кроме зевоты.

Между тем предмет этого поклонения понемногу утратил свежесть первой юности и приближался к так называемому среднему возрасту, который – как невежливо принято думать – наступает для слабого пола несколько ранее, чем для мужчин. Многие считали, что лэрду следовало перевести свои взоры на предмет, с которым Джини даже в лучшую свою пору не могла соперничать красотой и который теперь начал привлекать в Сент-Леонарде общее внимание.

Эффи Динс, окруженная нежными заботами сестры, выросла цветущей, прекрасной девушкой. Головка ее, изящная с античной правильностью, утопала в густых и выющихся каштановых кудрях, перехваченных синей шелковой лентой; осененное этими кудрями личико смеющейся Гебы сияло здоровьем, довольством и жизнерадостностью. Коричневое домотканое платье обрисовывало формы, которые – как, увы! часто бывает с шотландскими красавицами – со временем могли приобрести излишнюю полноту, но в ранней юности пленяли своими прелестными пропорциями и легкой грацией движений.

Расцветающая юная прелесть Эффи не смогла поколебать упорного постоянства лэрда Дамбидайкса. Зато едва ли кто еще не останавливал восхищенного взора на этом воплощении красоты и цветущего здоровья. Всадник придерживал усталого коня при въезде в город – цель своего путешествия – и заглядывался на нимфу, которая шла мимо него с кувшином молока на голове, так легко и грациозно ступая под своей ношей, что она, казалось, не обременяет, а лишь украшает ее. Юноши из предместья, собираясь по вечерам играть в шары, бросать молот или как-либо еще показывать свою удаль, следили за каждым движением Эффи Динс и наперерыв старались привлечь ее внимание. Даже строгие пресвитериане, единоверцы ее отца, считавшие все, что радует взор, ловушкой сатаны, невольно засматривались на красавицу – но тут же тяжело вздыхали о своей греховной слабости, а также о том, что столь прекрасное создание наравне со всеми унаследовало первородный грех и несовершенство человеческой природы. Ее прозвали Лилией Сент-Леонарда не только за редкостную красоту, но и за непорочность ее помыслов, речей и поступков.

Однако в характере Эффи Динс было нечто внушавшее серьезную тревогу не только почтенному Дэвиду Динсу, который, как легко можно себе представить, имел строгие взгляды на забавы и увлечения юности, но и более снисходительной сестре ее. У шотландцев простого звания дети обычно бывают избалованы, а отчего и до какой степени – об этом рассказал за меня и за всех будущих сочинителей одаренный автор занимательного и поучительного «Глэн-

³⁴ Утраченных искусств (*лат.*).

берни»³⁵. Эффи досталась двойная доля этой слепой и неразумной любви. Даже ее отец, при всей суровости своих принципов, не мог осуждать детские игры и забавы, а младшая дочь, дитя его старости, долго казалась ему ребенком; уже будучи взрослой девушкой, она все еще звалась крошкой Эффи и имела полную свободу резвиться, кроме воскресных дней и часов семейной молитвы. Сестра, которая заботилась о ней, как мать, не могла, разумеется, иметь над ней материнской власти, да и ту, что имела, утратила с тех пор, как Эффи подросла и стала заявлять свои права на независимость. Итак, при всей своей невинности и доброте Лилия Сент-Леонарда не лишена была самонадеянности, упрямства и вспыльчивости, отчасти врожденных, но, несомненно, усиленных воспитанием. Наилучшее понятие о нраве Эффи даст следующая вечерняя сцена в доме Динсов.

Заботливый хозяин был в коровнике, где задавал корм терпеливым животным – кормилицам семьи; надвигался летний вечер, и Джини Динс начинала тревожиться долгим отсутствием сестры и опасаться, что она не успеет домой к возвращению отца, который в этот час, после дневных трудов, собирал семью на молитву и был бы крайне недоволен, не видя Эффи. Тревога ее была тем сильнее, что Эффи исчезала из дому уже несколько вечеров кряду, сперва ненадолго – так что отлучка ее едва была замечена, – потом на полчаса и на час, а в этот раз уже и вовсе надолго. Джини стояла в дверях, заслонив рукою глаза от лучей заходящего солнца, и, поочередно глядя во все стороны, вдоль всех дорог, ведущих к их дому, искала взглядом стройную фигуру сестры. Так называемый Королевский парк был отделен от проезжей дороги стеною с проделанной в ней калиткой. То и дело взглядывая туда, она вдруг заметила две фигуры – мужчину и женщину, – показавшиеся несколько неожиданно, словно до этого они шли в тени стены, скрываясь от взоров. Мужчина поспешно отступил за стену; женщина прошла через калитку и направилась к дому. Это была Эффи. Она подошла к сестре с той напускной веселостью, которой женщины всех сословий скрывают свое смущение; подходя, она напевала:

Над рыцарем-эльфом склонилась ветла,
Ветла серебрится, светла, как звезда.
Веселая леди к нему подошла,
Но больше уж вы не глядите туда.

- Тише, Эффи, – сказала ей сестра, – отец сейчас выйдет из коровника.
Песенка оборвалась.
– Где ты ходишь так поздно?
– Все не поздно, – ответила Эффи.
– Уже пробило восемь на всех городских часах, и солнце село за холм Корсторфайн. Где ты была, говорю?
– Нигде, – ответила Эффи.
– А кто это прощался с тобой у калитки?
– Никто, – опять ответила Эффи.
– Нигде? Никто? Дай бог, Эффи, чтобы тебе незачем было скрывать, где и с кем ты была.
– А ты зачем подсматриваешь? – возразила Эффи. – Не допрашивай – не услышишь неправды. Я небось не спрашиваю, зачем этот лэрд Дамбидайкс ездит сюда и тарашится, как дикий кот (только глаза у него мутные), и так изо дня в день, а мы тут мрем со скуки.
– Ты ведь знаешь, что он ездит к отцу, – ответила Джини на эту дерзость.
– А преподобный Батлер – тоже к отцу? То-то отцу по душе его латынь! – сказала Эффи, с удовольствием видя, что может отразить атаку, если перенесет сражение на территорию про-

³⁵ Роман покойной миссис Элизабет Гамильтон. (Примеч. авт.)

тивника, и по-детски торжествуя победу над своей скромницей сестрой. Она лукаво и насмешливо поглядела на Джини и тихо, но многозначительно запела отрывок из старой шотландской песни:

На кладбище бедном
Я встретила лэрда.
Мне увалень глупый не сделал вреда.
Но шел мне навстречу
Наш пастор под вечер...

Но тут певица умолкла: взглянув на сестру и увидя, что у той на глаза навернулись слезы, она бросилась обнимать ее и осушать ее слезы поцелуями. Джини, хоть и была обижена и недовольна, не могла устоять перед ласками балованного ребенка, у которого и хорошие и дурные поступки были одинаково необдуманно. Возвращая сестре ее поцелуи в залог полного примирения, она все же не удержалась от нежного упрека:

– Уж если ты выучилась глупым песням, Эффи, зачем петь их про меня?

– Не буду! – сказала Эффи, все еще обнимая сестру. – Лучше бы я их не слыхала. И лучше б мы не переезжали сюда. И пусть у меня отсохнет язык, если я опять стану дразнить тебя...

– Ну, это еще невелика беда, – сказала любящая сестра. – Мне что ни говори, я на тебя не обижусь, а вот отца смотри не рассерди.

– Ни за что! – сказала Эффи. – Пусть завтра будет больше танцев и танцоров, чем звезд в зимнюю ночь, я к ним и близко-то не подойду.

– Танцы? – повторила изумленная Джини. – О Эффи, неужели ты ходишь на танцы?

Весьма возможно, что в порыве откровенности Лилия Сент-Леонарда тут же во всем призналась бы сестре и избавила меня от необходимости рассказывать ее скорбную повесть; но слово «танцы» достигло ушей старого Динса, который, обойдя вокруг дома, неожиданно появился перед дочерьми. Вряд ли слово «прелат» или даже «Папа Римский» произвело бы на него более потрясающее впечатление. Изю всех суетных развлечений самым пагубным по своим греховным последствиям он считал именно танцы, которые называл беснованием; в поощрении или даже просто дозволении этого развращающего занятия среди людей любого звания, как и в разрешении театральных представлений, он видел одно из главных проявлений веротступничества и причин Божьего гнева. Слово «танцы», произнесенное его собственными дочерьми и под его кровлей, привело его в негодование.

– Танцы? – воскликнул он. – Танцы? Да как вы посмели, бесстыдницы, произнести этакое слово в моем доме? Знаете ли вы, кто предавался греховным танцам и плясу? Израильтяне, когда поклонялись золотому тельцу в Вефиле; или еще нечестивица, которая получила за свои пляски главу святого Иоанна Крестителя^[46]. Вот я вам сегодня прочту про нее, для вашего вразумления, – оно вам, как видно, требуется. Горе ей! До сих пор небось клянет тот день, когда затеяла свою пляску. Лучше бы ей было родиться безногой и побираться по дворам, как старая Бесси Бови, чем быть царской дочерью и тешить беса плясками. Не раз дивился я, как могут люди, которые хоть однажды преклоняли колена в молитве, дрыгать ногами под дуду и волынку. Слава Создателю (и спасибо достойному Питеру Уокеру, коробейнику у Бристо-порта), что в юности не дали мне плясать; не до плясок было тем, кто терпел холод и голод, кому грозили мечом и виселицей, пулей и пыткой. Глядите же у меня! Если еще хоть раз помянете пляски под всякие там волынки и скрипичи, отрекусь от вас – клянусь памятью праведного отца моего!.. Ступайте домой сию же минуту, – добавил он более мягко, видя, что дочери заплакали, особенно Эффи. – Домой, домой, мои милые, и помолимся о спасении нас от всякого соблазна, чтобы нам не впасть в грех, на радость князю тьмы.

Эти наставления, произнесенные с лучшими намерениями, были, однако, очень несвоевременны. Создав разлад в душе Эффи, они помешали ей довериться сестре. «За кого она будет меня считать, – подумала про себя Эффи, – если признаться ей, что я уже четыре раза танцевала с ним на лугу, да еще раз у Мэгги Мак-Квинс? Еще станет грозить, что расскажет отцу, и тут у нее будет полная власть надо мной. Но больше я туда не пойду. Ни за что не пойду. Вот загну листок в Библии, а это все равно что клятва»³⁶. И она была верна своей клятве целую неделю, только все это время дулась и сердилась, чего раньше не бывало, разве когда ей перечили.

Все это сильно тревожило любящую и благоразумную Джини, тем более что она, жалея сестру, не решалась сообщить отцу об опасениях, которые, быть может, были неосновательны. Уважение к достойному старику не мешало ей видеть, что он самовластен и горяч; временами ей казалось, что его осуждение забав и развлечений заходит далее, чем того требуют религия и разум. Джини понимала, что Эффи, привыкшей жить по своей воле, внезапные крутые меры принесут больше вреда, чем пользы, и что своенравная девушка будет искать в чрезмерной суровости отцовских правил оправдание для дальнейшего послушания. В высших сословиях самая легкомысленная девица все же ограничена рамками светских приличий и находится под надзором мамы или дуэньи; тогда как сельская девушка, среди тяжкого труда урывающая минуту для веселья, никем и ничем не охраняется, – вот отчего забавы могут стать для нее опасны. Джини видела все это и сильно огорчалась, но одно обстоятельство на время ее успокоило.

Знакомая читателю миссис Сэдлтри доводилась Динсу дальней родственницей; это была женщина примерной жизни и строгих правил, к тому же состоятельная, так что семьи иногда виделись. Года за полтора до начала нашей повести этой почтенной матроне понадобилась служанка или, вернее, помощница в мастерской.

– Мужа не заставишь сидеть в мастерской, – сказала она, – ему бы только по судам таскаться. А каково одной ворочать кожи да торговать седлами? Вот я и вспомнила про Эффи – самая была бы подходящая помощница.

Предложение это пришлось по душе старому Дэвиду – оно сулило Эффи жалованье и харчи, а кроме того, надзор миссис Сэдлтри, строгой пресвитерианки, которая к тому же жила поблизости от Толбутской церкви, где еще можно было слышать утешительные проповеди тех немногих шотландских пастырей, кои не пали ниц перед Ваалом^[47], по выражению Дэвида, и не стали пособниками всеобщего вероотступничества: унии, терпимости, патроната и эрастианской присяги, навязанных церкви после революции^[48] и особенно в царствование «этой женщины» (так называл он королеву Анну), последней из злополучного рода Стюартов^[49]. Уверившись в ортодоксальности религиозных наставлений, которые предстояло слышать его дочери, старик позабыл о других соблазнах, ожидавших юную, прекрасную и своенравную девушку среди шумного и развращенного города. Он был так далек мыслями от этого рода соблазнов и испытывал перед ними такой ужас, что скорее догадался бы предостеречь Эффи от убийства. Одно только ему не нравилось: что ей придется жить под одной кровлей с Бартолайном Сэдлтри и его светской премудростью; не подозревая в нем осла, каким тот в действительности был, Дэвид приписывал ему всю юридическую ученость, на которую тот претендовал, но отнюдь не одобрял ее. Адвокаты, в особенности те из них, кто заседал в генеральном собрании церкви^[50], одними из первых содействовали патронату, отречению и всему тому, что, по мнению Дэвида Динса, было покушением на свободы церкви и «разбивало резной алтарь святилища». Дэвид столь усердно и многократно предостерегал дочь от мирской премудрости Сэдлтри, что почти

³⁶ Обычай загибать страницу в Библии, как бы призывая Небо в свидетели даваемого обещания, сохранился и поныне. (Примеч. авт.)

не успел коснуться опасностей, которые таят в себе вечеринки и танцы с мужчинами, – а ведь к этому девушки в возрасте Эффи куда более склонны, нежели к религиозной ереси.

Джини проводила сестру из дому со смешанными чувствами сожаления, опасений и надежд. Она меньше полагалась на благоразумие Эффи, чем их отец, ибо знала ее ближе и лучше понимала ее склонности и ожидающие ее соблазны. С другой стороны, миссис Сэдлтри была женщиной умной и проницательной, которая могла иметь на Эффи влияние и вместе с тем не стала бы злоупотреблять своей хозяйской властью. Отъезд в Эдинбург мог оборвать некоторые нежелательные знакомства, которые, как подозревала Джини, завелись у ее сестры в предместье. В общем, она была склонна радоваться отъезду Эффи из Сент-Леонарда и лишь в минуту первого в их жизни расставания ощутила всю силу своей любви к ней. Осыпая Эффи поцелуями и держа ее крепко за руки, Джини умоляла ее быть осторожной. Эффи слушала ее, не подымая длинных темных ресниц, из-под которых градом катились слезы. Когда сестра кончила, она зарыдала еще сильнее, расцеловала ее, обещая помнить все ее добрые советы, и с этим они расстались.

В первые недели Эффи более чем оправдала надежды своей родственницы. Со временем, однако, рвение ее к работе заметно ослабело. Как сказал уже цитированный нами поэт, тонко изображавший нравы:

Там было что-то. Что? Боюсь, что даже
И самый мудрый этого не скажет.
Какие-то намеки, слухи, сплетни
Ползли, как тучи, день скрывая летний.

Миссис Сэдлтри не могло нравиться, что Эффи нередко мешкала, когда ее посылали с поручениями, и обнаруживала раздражение, если ей за это выговаривали. Однако она добродушно оправдывала Эффи, говоря, что первое вполне понятно, если девушка впервые попала в большой город, где все ей в диковину, а второе естественно для балованного ребенка, впервые вынужденного подчиняться. Покорность и терпение не даются сразу. Ведь и Холируд не в один день строился. Придет время – все обойдется.

Действительно, добрая женщина оказалась, по-видимому, права. Не прошло нескольких месяцев, как Эффи свыклась со своими обязанностями, хотя выполняла их уже без той беззаботной веселости, которая вначале так привлекала заказчиков. Хозяйка иногда заставляла ее в слезах, но эти знаки тайного горя девушка всякий раз пыталась скрыть. Щеки ее бледнели, поступь становилась тяжелой. Эти перемены не укрылись бы от женского глаза миссис Сэдлтри, но тут она сама захворала и почти не выходила из спальни. Эффи стала тосковать все сильнее. Ей часто не удавалось подавить истерические рыдания; прислуживая в мастерской, она бывала так рассеянна и делала столько промахов, что Бартолайн Сэдлтри, которого болезнь жены вынудила заняться своей мастерской в ущерб более серьезным занятиям юриспруденцией, потерял терпение и объявил на своей судебной латыни, с полным пренебрежением к грамматике, что девушку следует подвергнуть судебной экспертизе и объявить *fatuus, furiosus* и *naturaliter idiota*³⁷. Соседи и слуги со злорадным любопытством или обидной жалостью стали замечать обезображенную талию, небрежный костюм и бледное лицо некогда прекрасной и все еще привлекательной девушки. Но она не доверялась никому, отвечая на шутливые намеки дерзостями, а на серьезные увещания угрюмым запирательством или потоками слез.

Когда миссис Сэдлтри, оправившись от болезни, должна была снова принять бразды правления, Эффи Динс, словно боясь ее расспросов, отпросилась на неделю-другую домой, ссылаясь на недомогание и желая, как она сказала, отдохнуть на свежем воздухе. Зоркий,

³⁷ Дурой, одержимой и прирожденной идиоткой (*лат.*).

как рысь (или считавший себя таковым), во всех тонкостях судопроизводства, Бартолайн был в житейских делах недогадливее любого голландского профессора математики. Он отпустил Эффи, ничего не подозревая и ни о чем не спрашивая.

Впоследствии оказалось, что Эффи явилась в Сент-Леонард лишь спустя неделю после того, как оставила дом своих хозяев. Когда она предстала перед сестрой, это была лишь тень той веселой красавицы, которая впервые покинула отчий дом немногим более года назад. Под предлогом болезни хозяйки Эффи последние месяцы почти неотлучно провела в полутемной мастерской, а Джини, поглощенная хозяйственными заботами, редко могла улучшить время, чтобы сходить в город и ненадолго навестить сестру. Таким образом, сестры несколько месяцев почти не видались, а толки и сплетни не доходили до обитателей уединенного домика в Сент-Леонарде. Ужаснувшись при виде сестры, Джини приступила к ней с расспросами, но добилась от несчастной молодой женщины лишь самых бессвязных ответов, а под конец – истерического припадка. Убедившись в несчастье своей сестры, Джини оказалась перед ужасным выбором: сообщить отцу о ее бесчестии или попытаться скрыть его. На все вопросы об имени и звании соблазнителя и о судьбе рожденного ею младенца Эффи хранила гробовое молчание и, казалось, готовилась унести с собою в гроб свою тайну. Каждый вопрос вызывал у нее новый приступ рыданий. Сестра ее в полном отчаянии готовилась уже обратиться к миссис Сэдлтри за советом, а быть может, и за некоторыми разъяснениями, когда их постиг новый сокрушительный удар.

Дэвид Динс был встревожен болезненным состоянием, в каком его дочь вернулась под родительский кров, но Джини удалось отвлечь его внимание и предотвратить чересчур подробные расспросы. Поэтому несчастный старик был словно поражен громом, когда однажды в полдень, одновременно с обычным посетителем – Дамбидайксом, к нему нагрянули другие, неожиданные и страшные гости. Это были полицейские с предписанием взять под стражу Юфимию – или Эффи – Динс, по обвинению в детоубийстве. Нежданный удар сразил старика, которого не сломала в свое время tirания военных и гражданских властей со всем арсеналом мечей и пушек, виселиц и пыток. Он без чувств повалился на пол, подле своего очага. Полицейские поспешили воспользоваться его беспомощностью и сократить ужасную сцену. Несчастную арестованную подняли с постели и посадили в карету, взятую для этой цели. Прежде чем Джини успела привести отца в чувство, стук отъезжающей кареты вернул ее к мысли о несчастной сестре. С воплем кинулась она во двор; но соседки, сбежавшиеся при появлении кареты, столь необычном в этом уединенном уголке, почти силой увели ее домой. Динсы были всеми уважаемы и любимы; несчастье их вызвало общее сочувствие, и домик их огласился плачем и причитаниями. Даже Дамбидайкс пробудился от обычной апатии и, сунув руку в карман, заговорил:

– Эй, Джини, Джини, не горюй! Дело, конечно, плохо, но деньги во всякой беде помогают. – С этими словами он вытащил кошелек.

Старик тем временем приподнялся, растерянно огляделся, словно ища кого-то, и, видимо, осознал свое несчастье.

– Где, – вскричал он громовым голосом, – где гнусная блудница, опозорившая честного отца? Где та, которой нет места среди нас? Где та, что осквернила себя грехами и прокралась к нам, словно дух тьмы? Где она, Джини? Приведи ее сюда, я уничтожу ее словом и взглядом!

Все кинулись к нему, каждый со своим утешением: лэрд – с кошельком, Джини – со жжеными перьями и нюхательным спиртом, соседки – с увещеваниями:

– Ах, мистер Динс, ах, сосед, какое тяжкое испытание! Но уповайте на Господа, сосед, уповайте на милость Его!

– Так я и делаю, соседи. Благодарение Богу, я еще могу искать в Нем прибежища, даже потерявши всю свою радость на земле... Но быть отцом распутницы, отверженной, убийцы, кровавой Сепфоры!.. То-то возликуют нечестивые! Прелатисты, вольнодумцы, разбойники, обогранные кровью своих жертв, – все будут торжествовать надо мною, все скажут, что и мы

не лучше их! Скорблю о несчастной падшей дочери – ведь это дитя моей старости, – но еще более скорблю о великом соблазне для христиан...

– Дэвид, да неужто и деньгами не помочь делу? – спросил лэрд, снова протягивая кошелек, туго набитый гинеями.

– Дамбидайкс! – сказал старик. – Если б надо было отдать все мое имущество, чтобы спасти ее от сетей дьявола, я ушел бы из дому бос и наг... Я жил бы подаянием во имя Господне и был бы счастлив... Но если она виновна и ей нужен хотя бы единый грош, чтобы откупиться от заслуженной кары, – на эту сделку Дэвид Динс никогда не пойдет! Нет! Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, жизнь за жизнь – таков закон у людей и у Бога. Оставьте меня, соседи, такое испытание подобает нести в уединении и молитве.

Джини, успевшая несколько опомниться, присоединилась к этой просьбе. Утром следующего дня отец и дочь все еще были в глубокой печали, но отец нашел опору в суровом сознании религиозного долга, а дочь подавляла свои чувства ради него, боясь беречь его раны. Так застаем мы несчастную семью наутро после казни Портеуса.

Глава XI

*Ужели же былая наша близость,
Часы, что мы по-сестрински делили,
Жалея, что стремительное время
Нас разлучит, – ужели все забыто?*

«Сон в летнюю ночь»^{38[51]}

Мы надолго покинули Батлера на пути в Сент-Леонард; и все же время, потраченное нами на предыдущую главу, не более того, которое он провел у Солсберийских утесов наутро после расправы мятежников над Портеусом. Но у него были причины медлить. Он хотел собраться с мыслями и прийти в себя после ужасной вести об Эффи, а также страшных картин, которых он был свидетелем. Кроме того, отношения его с Джини и ее отцом требовали соблюдения известных приличий и не позволяли ему являться к ним в любое время. Восемь часов были в ту пору обычным часом завтрака, и он решил дожидаться этого часа, прежде чем идти к ним.

Время тянулось для него нескончаемо. Чтобы скоротать его, Батлер переходил с места на место, слушая гулкий бой часов на соборе Сент-Джайлса, который тотчас подхватывался другими башнями. Когда пробило семь, он решил подойти поближе к Сент-Леонарду, до которого оставалась еще миля. Для этого он спустился в долину, отделяющую Солсберийские утесы от более низких холмов Сент-Леонарда. Многие из моих читателей, вероятно, знают эту глубокую уединенную лощину, поросшую травой и покрытую обломками скал, свалившихся с крутого восточного склона.

Это укромное место, как и некоторые другие в Королевском парке, часто служило в те времена для решения вопросов чести. Дуэли были в Шотландии очень часты; тамошние дворяне – праздные, чванливые, буйные, разделенные на враждующие клики и редко трезвые – охотно давали повод к ссоре и не спускали обид, а все споры решались шпагой, составлявшею неременную принадлежность одежды джентльмена. Поэтому, когда Батлер увидел молодого человека, явно пытавшегося укрыться от посторонних взоров за обломками скал в стороне от тропы, он прежде всего заподозрил в нем дуэлянта. Как ни был он сам озабочен, он решил, что долг священнослужителя повелевает ему заговорить с незнакомцем. «Бывает, – сказал он себе, – что случайное вмешательство спасает от больших бед; вовремя сказанное слово предотвращает больше зла, чем все красноречие Туллия^[52] может потом исправить. А что до собственных моих горестей, они покажутся мне легче, если я не дам им отвлечь себя от исполнения долга».

С этими мыслями и чувствами он сошел с тропинки и приблизился к незнакомцу. Тот сперва направился к холмам, желая, по-видимому, уклониться от встречи. Убедившись, что Батлер намерен следовать за ним, он сердитым жестом надвинул шляпу, повернулся и с вызывающим видом пошел ему навстречу.

Батлер смог при этом ясно рассмотреть его черты. Незнакомцу было на вид около двадцати пяти лет. По платью трудно было с уверенностью определить его положение в обществе. Такую одежду нередко носили молодые дворяне на утренних прогулках, но, из подражания им, так же одевались и многие молодые купцы и чиновники, для которых этот недорогой костюм был наиболее доступным способом походить на дворян. Однако манеры молодого человека, пожалуй, обличали в нем, скорее, одевшегося попроще дворянина, чем принарядившегося раз-

³⁸ Перевод М. Лозинского.

ночинца. Он держался смело, непринужденно и несколько надменно. Роста он был немного выше среднего. Его сложение говорило о физической силе, но было вместе с тем не лишено изящества. Черты лица его были очень красивы, и все в нем было бы весьма привлекательно, если бы не печать разгульной жизни и какая-то дерзкая отчаянность, под которой нередко прячется растерянность.

Батлер и незнакомец сошлись, оглядели друг друга, и незнакомец, слегка притронувшись к шляпе, готовился уже разминуться с Батлером, когда тот, ответив на поклон, заметил:

– Отличное утро, сэр. Вы рано вышли из дому.

– Я вышел по делу, – ответил молодой человек тоном, пресекающим дальнейшие расспросы.

– Не сомневаюсь, – сказал Батлер. – Позвольте надеяться, что дело это доброе и законное.

– Сэр, – удивленно ответил незнакомец, – я не терплю дерзостей и не понимаю, какое право вы имеете выражать надежды насчет того, что отнюдь вас не касается.

– Я солдат, сэр, – сказал Батлер, – и имею право задерживать злоумышленников именем моего господина.

– Солдат?.. – воскликнул молодой человек, хватаясь за шпагу. – И хочешь задержать меня? Дешево же ты ценишь свою жизнь, если взялся за это!

– Вы неверно поняли меня, сэр, – сказал Батлер. – Мой меч и сражения – не от мира сего. Я проповедник слова Божьего и уполномочен блюсти мир на земле и благоволение в человецех, завещанные Писанием.

– А, священник! – произнес незнакомец насмешливо и пренебрежительно. – Я знаю, что в Шотландии ваша братия присвоила себе право вмешиваться в чужие дела. Но я побывал за границей, и попы мне не указчики.

– Сэр, если иные лица духовного звания вмешиваются в чужие дела из праздного любопытства или еще худших побуждений, вы правы, что осуждаете их. Но истинный служитель Бога трудится не покладая рук. Сознывая чистоту своих побуждений, я, скорее, готов вызвать ваше неудовольствие, пытаюсь говорить с вами, чем укоры своей совести, если промолчу.

– Так ради самого черта, – нетерпеливо воскликнул молодой человек, – говорите скорее! Но я не могу понять, за кого вы меня принимаете и что вам за дело до меня, человека вам неизвестного, и до моих поступков, о которых вы ничего не можете знать.

– Вы готовитесь, – сказал Батлер, – нарушить один из мудрейших законов нашей страны, более того – один из законов, начертанных в наших сердцах самим Господом и против нарушения которого восстает вся наша природа.

– Что же это за закон? – спросил незнакомец глухим и взволнованным голосом.

– В заповеди сказано: не убий! – торжественно произнес Батлер.

Молодой человек вздрогнул и явно смутился. Видя произведенное им впечатление, Батлер решил продолжать.

– Подумайте, – сказал он, ласково кладя руку на плечо незнакомца, – какой ужасный выбор вам предстоит: убить или быть убитому. Подумайте, каково незванным предстать перед оскорбленным Создателем, когда сердце ваше кипит злобными страстями, а рука еще сжимает шпагу, которую вы преднамеренно направляли в грудь вашего ближнего. Или представьте, что вы остались живы: вы будете почти столь же несчастны; будете носить в душе грех Каина, первого убийцы, а на челе – печать каинову, печать отверженного, изобличающую убийцу перед всем светом. Подумайте...

Во время этой речи незнакомец снял с плеча руку своего ментора, а теперь прервал его, еще глубже надвигая шляпу на лоб:

– Я ценю ваши прекрасные намерения, сэр, но вы стараетесь понапрасну. Я не намерен никого здесь убивать. Я великий грешник – вы, священники, утверждаете, что все люди таковы, – но я пришел сюда спасти человеческую жизнь, а не отнимать ее. Если хотите сде-

лать доброе дело, вместо того чтобы рассуждать о том, чего не знаете, я доставлю вам случай. Видите вон тот утес направо, а над ним – трубу одинокого домика? Ступайте туда, спросите Джини Динс, дочку хозяина, и скажите ей, что известное ей лицо ожидало ее здесь с самого рассвета и больше ждать не может. Скажите, что она непременно должна встретиться со мной нынче вечером у Охотничьего болота, как только луна взойдет над холмом Святого Антония, – или я не ручаюсь за себя.

– Кто вы такой? – спросил Батлер, неприятно удивленный. – Кто вы такой, чтобы давать мне подобное поручение?

– Я – дьявол, – не задумываясь ответил молодой человек.

Батлер невольно отпрянул назад и мысленно сотворил молитву. Он был человек просвещенный, но не мог быть впереди своего века, для которого неверие в колдовство и привидения было равносильно атеизму.

Не замечая его испуга, незнакомец продолжал:

– Да! Зовите меня Аполлионом^[53], Абаддонною^[54], как хотите – вам, церковникам, известна вся небесная и адская номенклатура, – вам не сыскать имени, которое внушало бы его носителю большее отвращение, чем я чувствую к моему!

Он сказал это с неопишуемой горечью, и лицо его исказилось при этом поистине демонической гримасой. Батлер, мужественный по обязанности, если не от природы, был подавлен, ибо вид крайнего душевного страдания имеет в себе нечто ужасное, в особенности для впечатлительных натур. Незнакомец отошел было прочь, но тотчас вернулся и, подойдя вплотную к Батлеру, сказал резко и повелительно:

– Я назвал себя, а вы кто? Как ваше имя?

– Батлер, – ответил тот, невольно повинуясь повелительному тону. – Рубен Батлер, проповедник слова Божия.

При этом ответе незнакомец снова надвинул на глаза шляпу, которую он в своем волнении сдвинул назад.

– Батлер? – повторил он. – Помощник учителя в Либбертоне?

– Он самый, – спокойно ответил Батлер.

Незнакомец прикрыл лицо рукою, как бы в раздумье, и отошел на несколько шагов; видя, что Батлер провожает его глазами, он сказал сурово, но негромко:

– Идите и выполняйте мое поручение. Не оглядывайтесь. Я не провалюсь сквозь землю и не исчезну в адском пламени. Но кто вздумает выслеживать меня, пожалеет, что не родился на свет слепым. Идите же и не оглядывайтесь. Скажите Джини Динс, что с восходом луны я буду ждать ее у могилы Никола Мусхета, под часовней Святого Антония.

С этими словами он зашагал прочь с той же поспешностью и решительностью, какая отличала все его слова.

Опасаясь неведомо каких новых бед для семьи, которая, казалось, уже испила до дна горькую чашу, в отчаянии от мысли, что кто-либо смеет давать столь необычайный приказ и столь повелительным тоном предмету его первой и единственной любви, Батлер поспешил к дому Динса, чтобы удостовериться, какие права имел дерзкий кавалер требовать от Джини свидания, на которое вряд ли согласилась бы хоть одна разумная и порядочная девушка.

Батлер не был от природы ни ревнив, ни суеверен, однако, наравне со всеми людьми, обладал зачатками обоих этих чувств. Его терзала мысль, что развратный кутила, каким незнакомец казался по своим речам и поведению, имел право вызывать его нареченную невесту в столь неподходящее место и в такой необычный час. Правда, тон незнакомца ничем не напоминал вкрадчивую речь соблазнителя, испрашивающего свидания, – он был повелителен и резок и выражал скорее угрозу, чем любовь.

Доводы суеверия представлялись более вескими. Уж не был ли это и впрямь Лев Рыкающий^[55], бродящий в поисках добычи? Вопрос этот вставал в уме Батлера с настойчивостью,

непонятной людям нашего времени. Горящие глаза, резкие движения, намеренно приглушенный, но по временам пронзительный голос; красивые черты, то омраченные гневом, то искаженные подозрениями, то волнующие страстью; темные глаза, скрывающиеся полями шляпы, чтобы удобнее было наблюдать за собеседником, – глаза, то отуманенные тоской, то прищуренные с презрением, то сверкающие яростью; кто же это – простой смертный, обуреваемый страстями, или демон, тщетно пытающийся скрыть свои адские замыслы под личиной мужественной красоты? Все в нем – внешность и речи – напоминало падшего ангела и произвело на Батлера, уже потрясенного ужасами минувшей ночи, большее впечатление, чем допускали его рассудок и его самолюбие. Самое место, где он повстречал загадочного незнакомца, пользовалось дурной славой, как место гибели многих дуэлянтов и самоубийц, а место, назначенное им для ночного свидания, слыло проклятым и получило свое название от имени злодея, зверски убившего там свою жену. В таких именно местах, согласно поверьям тех времен (когда законы против ведьм и колдовства были еще свежи в памяти и применялись совсем недавно), нечистая сила являлась глазам смертных и пыталась соблазнять их. Суеверный страх закрался в душу Батлера, который не мог быть свободен от всех предрассудков своего века, своей родины и своего звания, хотя его здравый смысл и отвергал подобный вздор, не совместимый с общими законами, управляющими миром; а эти законы, – говорил себе Батлер, – не могут быть нарушены, нет, не могут, если только мне не представят ясных и неопровержимых доказательств обратного. Однако смертный возлюбленный или вообще человек, почему-то имевший право так властно распоряжаться предметом его верной и, по-видимому, взаимной любви, устрашал его не менее, чем нечистая сила.

Изнемогая от усталости, терзаясь мучительными подозрениями и воспоминаниями, Батлер насилу дотащился до Сент-Леонарда и переступил порог жилища Динсов, чувствуя себя таким же несчастным, как его обитатели.

Глава XII

*И с ним простилася она
Дрожащею рукой:
«Я возвращаю твой обет,
Пусть Бог вернет покой».*

Старинная баллада³⁹

– Войдите! – откликнулся кроткий, любимый им голос, когда Батлер постучал в дверь. Он поднял скобу и вошел в жилище скорби. Джини едва решилась взглянуть на своего возлюбленного – так она была подавлена горем и так глубоко чувствовала свое унижение. Известно, как много значат в Шотландии семейные связи. Обстоятельство это определяет многое – как хорошее, так и дурное – в национальном характере. Происхождение «от честных родителей», то есть от людей с незапятнанным именем, столь же высоко ценится шотландцами простого звания, как принадлежность к «знатному роду» ценится дворянством. Честное имя каждого члена крестьянской семьи является для всех и для него самого не только предметом законной гордости, но и ручательством за семью в целом. И, напротив, позор, запятнав одного из них, как это случилось с младшей дочерью Динса, ложился на всех близких. Вот почему Джини чувствовала себя униженной в собственных глазах и в глазах своего возлюбленного. Напрасно старалась она подавить это чувство – эгоистическое и ничтожное в сравнении с бедствием сестры. Природа брала свое: проливая слезы над участью сестры, она плакала также и над собственным унижением.

Когда Батлер вошел, старый Динс сидел у очага, держа в руках истрепанную карманную Библию, спутницу всех странствий и опасностей его юности, завещанную ему на плахе одним из тех, кто в 1686 году отдал жизнь за веру^[56].

Солнце, проникая через маленькое окошко позади старика и «золотя пылинок рой», по выражению шотландского поэта того времени, освещало седины старика и страницы священной книги. Выражение стоической твердости и презрения ко всему земному придавало благородство резким и отнюдь не красивым чертам его лица. Он напоминал древних скандинавов, которые, по словам Саути^[57], «разят нещадно и выносят стойко». Все вместе составляло картину, по освещению напоминавшую Рембрандта, а по выразительности и силе достойную Микеланджело.

При входе Батлера Динс поднял глаза, но тотчас же вновь отвел их, и на лице его выразились смущение и душевная боль. Он всегда так надменно обходился со светским ученым, как он называл Батлера, что видеть его теперь было для старика особенно унижительно, как для умирающего воина в балладе, который воскликнул: «Граф Перси видит мой позор!»

Динс поднял в левой руке Библию, заслонив ею лицо, а правую протянул вперед, как бы отстраняя Батлера; при этом он попытался отвернуться. Батлер схватил эту руку, столь часто помогавшую ему в его сиротстве, и, обливая ее слезами, с трудом мог вымолвить: «Да утешит вас Бог! Да утешит вас Бог!»

– На это я и уповаю, друг мой, – сказал Динс, обретая некоторую твердость при виде волнения своего посетителя. – Он один может ниспослать утешение, когда будет на то Его святая воля. Уж очень я возгордился тем, что в свое время претерпел за веру, Рубен. Вот и придется теперь смиряться и привыкать к насмешкам. Не я ли превозносился над всеми, кто жил

³⁹ Перевод С. Маршака.

в тепле, покое и сытости, пока я скитался по болотам с изгнанными борцами за веру – с праведным Доналдом Камероном и достойным мистером Блэкаддером? Не я ли гордился перед Богом и людьми, что удостоился в пятнадцать лет стоять у позорного столба в Кэнонгейте за правое дело ковенанта? Вот какая честь выпала мне в юности, Рубен! Не я ли всякий день и всякий час свидетельствовал против богомерзких ересей? Не я ли возвышал голос против позорящих страну и церковь гнусностей, подобных унии, терпимости и патронату, навязанных нам этой несчастной – последней в злополучном роде Стюартов? Не я ли обличал нарушения прав церковных старейшин? Я ведь даже издал памфлет под названием «Крик филина в пустыне», который был отпечатан в Баухеде и продавался всеми коробейниками в городах и в селах. А теперь!..

Тут он умолк. Батлер, хотя он и не вполне разделял взгляды старика на церковное управление, был, разумеется, слишком гуманен, чтобы прервать его, когда тот с законной гордостью перебирал все, что претерпел за веру. Более того – когда Динс умолк, подавленный горем, Батлер поспешил со словами утешения:

– Все знают вас, почтенный друг мой, за стойкого и испытанного слугу Христова, за одного из тех, кто, по словам святого Иеронима^[58], *per infamiam et bonam famam grassari ad immortalitatem*, то есть «не ища доброй славы и не страшась дурной, имели целью жизнь вечную». Вы были одним из тех, к кому верующие взывают в ночи: «Сторож, сколько ночи?» И, быть может, ниспосланный вам тяжкий искуса тоже имеет свое назначение.

– Так я и истолковал его, – сказал бедный Динс, отвечая на пожатие Батлера, – и хотя не обучался чтению Святого Писания на иных языках, кроме родного шотландского (латинская цитата Батлера и тут не ускользнула от его внимания), я твердо его усвоил и надеюсь безропотно снести и этот удар судьбы. Но, Рубен! Помысли о церкви, где я, недостойный, с юных лет бессменно состою старейшиной... Что скажут враги церкви о столпе ее, который не сумел уберечь от греха собственное дитя? Как будут они ликовать, когда узнают, что дети избранных творят те же мерзости, что и отродие Велиала!^[59] Но буду нести этот крест! Видно, все мое благочестие было подобно блеску светляка на пригорке в темную ночь. Он потому только и светит, что все вокруг темно, а взойдет солнце из-за гор – и всем видно, что он не более как червь. Так-то вот и со мною, и нечем мне прикрыть наготу мою...

Тут дверь вновь отворилась, и вошел мистер Бартолайн Сэдлтри; сдвинув треугольную шляпу на затылок и подложив под нее для прохлады фуляровый платок, опираясь на трость с золотым набалдашником, он всей своей осанкою изображал богатого горожанина, которого ожидает со временем место в городском управлении, а быть может, даже и само курульное кресло^[60].

Ларошфуко^[61], который сорвал покровы со столькох тайных людских пороков, говорит, что мы находим нечто приятное в несчастьях наших друзей. Мистер Сэдлтри очень рассердился бы, если бы кто-либо вздумал сказать ему, что несчастье бедной Эффи и позор ее семьи были ему приятны, и все же нам кажется, что возможность разыгрывать из себя влиятельное лицо, производить дознание и толковать законы вполне вознаградила его за то огорчение, которое доставляло ему несчастье жениной родни. Наконец-то ему досталось настоящее судебное дело вместо незавидной роли советчика, в котором никто не нуждается. Он радовался, как ребенок, получивший в подарок первые настоящие часы с настоящим заводом, стрелками и циферблатом. Кроме этого интересного предмета, мысли Бартолайна были заняты делом Портеуса, расправою с ним и возможными последствиями всего этого для города. Это уж было, как говорят французы, *embarras de richesses* – избыток богатств. Он вошел к Динсу с горделивым сознанием, что несет важные известия и может наговориться всласть:

– Доброго здоровья, мистер Динс, здравствуйте, мистер Батлер; а я и не знал, что вы между собою знакомы.

Батлер что-то пробормотал в ответ; легко представить себе, что знакомство с Динсами, составлявшее его сердечную тайну, он не стремился разглашать среди посторонних, каким был для него Сэдлтри.

Почтенный горожанин, раздуваясь от сознания своей важности, уселся в кресло, отер лоб, отдышался и испустил глубокий и солидный вздох или даже подобие стона:

– Ну и времена, сосед! Ну и времена!

– Грешные, позорные, нечестивые времена, – откликнулся Динс тихим и подавленным тоном.

– Что до меня, – продолжал с важностью Сэдлтри, – от несчастий моих друзей и моего бедного отечества я совсем потерял голову и оступел – словно *inter rusticos*⁴⁰. Только что я успел вчера обдумать, что можно сделать для бедной Эффи, и перебрал весь свод законов, а утром просыпаюсь и узнаю, что толпа взяла да и повесила Джокя Портеуса на красивом шесте... Ну, тут уж у меня все разом из головы вылетело.

Несмотря на свое глубокое горе, Динс обнаружил при этих словах некоторый интерес. Сэдлтри тотчас пустился во все подробности восстания и его последствий. Батлер тем временем попытался поговорить с Джини наедине. Случай скоро представился. Она вышла из комнаты, как будто по делам хозяйства. Спустя несколько минут вышел и Батлер; Динс, оглушенный говорливостью своего нового гостя, едва ли заметил его уход.

Разговор их произошел в кладовой, где Джини держала молочные продукты. Когда Батлеру удалось пройти туда вслед за нею, он застал ее в слезах. Постоянно занятая каким-нибудь полезным делом, даже во время беседы, она теперь безучастно сидела в углу, подавленная тяжелыми думами. Однако, когда он вошел, она осушила глаза и первая заговорила со свойственной ей простотой и искренностью:

– Хорошо, что вы пришли, мистер Батлер. Я... я хотела сказать, что все должно быть между нами кончено, – так будет лучше для нас обоих.

– Кончено? – сказал удивленно Батлер. – Но почему же? Вас постигло тяжкое испытание, но в этом не повинны ни ты, ни я; оно послано Богом, и его надо претерпеть. Но как может это разорвать помолвку, пока помолвленные сами того не захотят?

– Рубен, – сказала молодая женщина, глядя на него с нежностью, – вы всегда думаете обо мне больше, чем о себе, а теперь я должна подумать прежде всего о вашем счастье. У вас честное имя, и вы служитель Божий. Говорят, что вам суждено стать большим человеком в церкви, а мешает вам только бедность. Бедность, Рубен, – плохая подруга, это вы слишком хорошо знаете. А дурная слава – еще того хуже, но этого вам не доведется узнать из-за меня.

– Что все это значит? – спросил нетерпеливо Батлер. – Что общего между виною Эффи, – а я еще надеюсь, что мы докажем ее невиновность, – и нашей помолвкой?

– Что тут спрашивать, мистер Батлер? Ведь этот позор не забудется, пока мы живы. Он достанется и детям нашим и внукам. Была я когда-то дочерью честного человека... А теперь я – сестра такой... О Боже! – Тут она не выдержала и громко разрыдалась.

Влюбленный приложил все усилия, чтобы успокоить ее, и это наконец ему удалось; но, успокоившись, она повторила с той же твердостью:

– Нет, Рубен, с таким приданым я ни за кого не пойду. Беду свою я должна нести и снесу. Но нечего взваливать ее на чужие плечи. Снесу одна – спина у меня крепкая.

Влюбленному положено быть подозрительным. В готовности, с которою Джини предлагала разорвать помолвку под видом заботы о его спокойствии и чести, бедный Батлер усмотрел некую связь с поручением, полученным утром от незнакомца. Срывающимся голосом он спросил, нет ли у нее иной причины, кроме несчастья сестры.

⁴⁰ Среди мужланов (*лат.*).

– Что же еще может быть? – сказала она простодушно. – Ведь уже десять лет, как мы обещались друг другу.

– Десять лет – долгий срок, – сказал Батлер. – За это время женщине может надоест...

– Старое платье, – сказала Джини. – И ей захочется нового, если она любит наряжаться.

Но друг ей не надоест. Глазу нужна перемена, но сердцу – никогда!

– Никогда? – сказал Рубен. – Это смелое обещание.

– И все же это правда, – сказала Джини с той ясной простотой, какая была свойственна ей в радости и в горе, в житейских мелочах и в том, что было ей всего важнее и дороже.

Батлер помолчал, пристально глядя на нее.

– У меня есть к тебе поручение, Джини.

– От кого? Кому может быть дело до меня?

– От неизвестного мне человека, – сказал Батлер, тщетно стараясь говорить безразличным тоном. – От молодого человека, которого я нынче утром повстречал в парке.

– Боже! – воскликнула Джини. – Что же он сказал?

– Что не дождался тебя в условленный час и требует, чтобы ты встретила с ним одна этой ночью у Мухсегова кэрна, как только взойдет луна.

– Скажите, – поспешно промолвила Джини, – что я непременно приду.

– Могу ли я спросить, – сказал Батлер, чувствуя, как все его подозрения ожили при виде такой готовности, – кто этот человек, с которым ты готова встретиться в таком месте и в такой час?

– Людям много чего приходится делать не по своей охоте, – отвечала Джини.

– Верно, – согласился влюбленный, – но что тебя вынуждает? Кто он? Мне он не понравился. Скажи, кто же он?

– Не знаю, – ответила Джини просто.

– Не знаешь? – вскричал Батлер, в волнении расхаживая взад и вперед. – Собираешься встретиться с молодым человеком, – и где и в какой час! – говоришь, что вынуждена к этому, а не знаешь человека, который имеет над тобой такую власть! О Джини, что же я должен думать обо всем этом?

– Думайте одно, Рубен: что я говорю правду, как перед Богом. Я его не знаю; я вряд ли встречала его раньше, но должна с ним увидеться, как он просит, – это дело жизни и смерти!

– Может, скажешь отцу или возьмешь его с собою? – спросил Батлер.

– Не могу, – сказала Джини. – Я не имею на это дозволения.

– Может быть, возьмешь меня? Я бы подождал в парке дотемна и пошел с тобою.

– Нельзя, – сказала Джини, – ни одна душа не должна слышать наш с ним разговор.

– А ты подумала, на что соглашаешься? На какой час? На какое место? С какой подозрительной, никому не известной личностью? Ведь если б он просил свидания с тобой здесь, в доме, и отец сидел бы в соседней комнате, ты не приняла бы его в такой поздний час.

– От своей судьбы не уйдешь, мистер Батлер; жизнь моя и честь в руках Божьих, но для такого важного дела я пойду на все.

– Ну что же, Джини, – сказал Батлер, очень недовольный. – Видно, нам и впрямь надо проститься. Если в таком важном деле невеста не хочет довериться жениху, это верный знак, что она уже не чувствует к нему того, что необходимо для их счастья.

Джини посмотрела на него и вздохнула.

– Я считала, – сказала она, – что приготовила себя к разлуке, но я не думала, что мы расстанемся врагами. Что ж, я женщина, а вы мужчина, ваше дело иное. Если вам так легче, пусть будет так, думайте обо мне дурно.

– Ты, как всегда, – сказал Батлер, – мудрее, лучше и чище в своих чувствах, чем я со всей моей философией. Но почему, почему ты решаешься на этот отчаянный шаг? Почему отказываешься от моей помощи или хотя бы совета?

– Не могу и не смею, – отвечала Джини. – Но ш-ш! Что это? Верно, отцу стало худо.

Действительно, голоса в соседней комнате стали вдруг необычайно громки. Причину этого шума необходимо объяснить, прежде чем продолжать нашу повесть.

После ухода Джини и Батлера мистер Сэдлтри заговорил о деле, которое больше всего интересовало семью. В начале их беседы старый Динс, обычно отнюдь не покладистый, был так подавлен своим позором и озабочен судьбою Эффи, что выслушал, не возражая, а может быть, и не понимая, ученые рассуждения о предъявленном ей обвинении и о шагах, которые надлежит предпринять. Он лишь вставлял время от времени: «Верю, что вы нам плохого не посоветуете – ведь жена ваша доводится нам роднею».

Ободренный этим, Сэдлтри, который в качестве дилетанта от юриспруденции питал безграничное почтение к законным властям, перешел к другому занимавшему его предмету – делу Портеуса и сурово осудил действия толпы.

– Вот до чего мы дожили, мистер Динс! Чего хуже, когда невежественные простолюдины берутся судить вместо законного судьи. Я полагаю – и такого же мнения мистер Кроссмайлуф и весь Тайный совет, – что расправа над осужденным, которому вышло помилование, да еще и бунт, должны караться как государственная измена.

– Не будь я сокрушен своим несчастьем, мистер Сэдлтри, – сказал Динс, – я бы поспорил с вами насчет этого.

– Какие могут быть споры против закона? – сказал презрительно Сэдлтри. – Любой начинающий адвокат скажет вам, что это есть худший и зловреднейший род государственной измены, открытое подстрекательство подданных его величества к сопротивлению власти (тем более – с оружием и барабанным боем, а это я видел своими глазами). Это хуже оскорбления величества или, скажем, укрывательства преступников. Какие уж тут споры!

– А вот и нет! – возразил Динс. – А вот и нет! Не по душе мне ваши бумажные, бездушные законы, сосед Сэдлтри. Я мало видел толку от парламента с тех пор, как честных людей обманули после революции.

– Чего вам еще надо? – сказал нетерпеливо Сэдлтри. – Разве вы не получили навечно свободу совести?

– Мистер Сэдлтри, – возразил Динс, – я знаю, что вы из тех, кто похваляется мирской ученостью, и что вы водите компанию с нашими законниками и умниками. Горе нам! Это они, еретики, ввергли нашу несчастную страну в бездну. Это они укрепили своими черными делами кровавое дело наших гонителей и палачей. А ревнителю истинной церкви, столпы и строители нашего Сиона^[62] узрели крушение всех своих надежд, и плачем сменилось их ликование...

– Непонятно мне все это, сосед, – отвечал Сэдлтри. – Я и сам принадлежу к шотландской пресвитерианской церкви и признаю генеральное собрание, а также юрисдикцию пятнадцати лордов сессионного суда и пяти лордов уголовной палаты.

– Слышать не хочу! – воскликнул Дэвид, забывая на миг свое горе при этой возможности обличать вероотступников. – Знать не хочу ваше генеральное собрание! Плевать я хотел на сессионный суд! Кто там заседает? Равнодушные и лукавые, которые жили припеваючи, когда гонимые за веру терпели голод, холод и смертный страх, скитались по лесам и болотам, гибли от огня и меча. Теперь небось все повылезли из своих нор, как навозные мухи на солнышко, и заняли хорошие места, а чьи места? – тех, кто боролся, кто неустанно обличал, кто шел в тюрьму и в ссылку... Знаем мы их! А что до вашего сессионного суда...

– Говорите что угодно о генеральном собрании, – прервал его Сэдлтри, – пусть за него заступается кто хочет. Но только не про сессионный суд... Во-первых, они мне соседи, а во-вторых, я для вашей же пользы говорю! Отзывать о них плохо, то есть выражать недовольство, есть преступление *sui generis*⁴¹, мистер Динс, – а известно ли вам, что это такое?

⁴¹ В своем роде (*лат.*).

– Не знаю я антихристового языка, – сказал Динс, – и знать не хочу. Мало ли как светским судам вздумается называть речи честного человека! Выразать недовольство? В этом наверняка повинны все, кто проигрывает тяжбы, и многие из тех, кто их выигрывает. Скажу вам прямо: я ни в грош не ставлю всех ваших сладкоречивых адвокатов, всех торговцев мудростью, всех лукавых судей. Заседают по три дня, когда дело выеденного яйца не стоит, а на Святое Писание у них времени нет. Все они казуисты и крючкотворы, все только и делают, что пособничают вероотступникам, унии, терпимости, патронату и эрастианским присягам. А уж нечестивая уголовная палата!..

Посвятив всю свою жизнь отстаиванию гонимой истинной веры, честный Дэвид и теперь ринулся в этот спор с обычной своей горячностью. Но упоминание о суде вернуло его к мысли о несчастной дочери; пламенная речь его оборвалась на полуслове; он прижал ладони ко лбу и умолк.

Сэдлтри был тронут, но все же воспользовался внезапно воцарившимся молчанием, чтобы, в свою очередь, произнести речь.

– Что и говорить, сосед, – сказал он, – плохо иметь дело с судами, если только не слушаешь разбирательство как специалист, для собственного совершенствования. Так вот, насчет несчастья с Эффи... Вы, должно быть, уже видели обвинение? – Он вытащил из кармана пачку бумаг. – Нет, не то... Тут у меня жалоба Мунго Марспорта на капитана Лэкленда о том, что означенный капитан вторгся на его, Марспорта, землю с соколами, гончими, борзыми, сетями, ружьями, самострелами, пищальями и иными приспособлениями для истребления дичи, как-то: оленей, косуль, рябчиков, тетеревов, куропаток, цапель и прочего; причем ответчик, на основании статута шестьсот двадцать первого, не имеет права охотиться, если не владеет хотя бы одной бороздою земли. Однако, говорит защита, за неимением точного определения того, что есть «борозда земли», иск должен быть отведен. Обвинение же (оно подписано мистером Кроссмайлуфом, но составлял его мистер Юнглэд) утверждает, что это не может *in hoc statu*⁴² служить оправданием, ибо у ответчика вовсе нет земли. Пусть «борозда земли», – тут Сэдлтри принялся читать свою бумагу, – равняется, скажем, всего лишь одной девятнадцатой части гусяного выпаса (нет, это все-таки мистер Кроссмайлуф, я узнаю его слог!)... гусяного выпаса, ответчику от этого не легче – ведь у него нет и горсти земли. На это защитник Лэкленда возражает, что *nihil interest de possessione*⁴³, что истец должен подвести дело под известную статью (вот на это советую вам обратить внимание, сосед) и показать *formaliter et specialiter*⁴⁴, а не только *generaliter*⁴⁵, на каком основании за ответчиком не признается право охоты. Пусть сперва скажут, что есть «борозда земли», а уж тогда я скажу, владею я таким участком или нет. Должен же истец понимать свою собственную жалобу, и на какой статье закона он может ее основывать. Скажем: Титиус подает иск на Мевууса о возвращении одолженной этому последнему вороной лошади. Такой иск, конечно, будет рассмотрен. А вот если Титиус предъявит иск за красную или малиновую лошадь, ему придется сперва доказать, что такое животное существует *in regum nature*⁴⁶. Никого нельзя заставить опровергать чепуху, то есть такие обвинения, которых нельзя ни понять, ни объяснить (вот тут он не прав: чем непонятнее составлен иск, тем лучше). Таким образом, определение прав ответчика через никому не известную и не понятную меру земельной площади равносильно тому, что кто-либо подвергается наказанию за то, что охотился с соколами или собаками и при этом надел синие панталоны, но не... Однако я утомил вас, мистер Динс. Перейдем к вашему делу, хотя надо сказать, что этот самый

⁴² В таком положении (*лат.*).

⁴³ Вопрос о собственности здесь ни при чем (*лат.*).

⁴⁴ Формально и в частности (*лат.*).

⁴⁵ Вообще (*лат.*).

⁴⁶ В природе (*лат.*).

иск Марспорта к Лэкленду тоже наделал немало шума. Ну-с, так вот обвинение против Эффи: «Считать признанным и бесспорным (это так всегда для начала говорится), что по законам нашей страны, равно как и других просвещенных стран, убийство кого бы то ни было, в особенности же – младенца, почитается тяжким преступлением и подлежит суровому наказанию. С каковой целью вторая сессия первого парламента их величеств короля Вильгельма и королевы Марии особым законом постановила, чтобы всякая женщина, которая скроет свою беременность и не сумеет доказать, что, собираясь рожать, призвала кого-либо на помощь, а также не сможет предъявить ребенка живым, считалась виновной в убийстве упомянутого ребенка и, по доказательстве и признании факта сокрытия беременности, подлежала наказанию по всей строгости закона; вследствие чего Эффи, она же Юфимия, Динс...»

– Довольно, – сказал Динс, подымая голову. – Лучше бы уж вы всадили мне нож в сердце!

– Как хотите, сосед, – сказал Сэдлтри. – Я думал, вам будет спокойнее все знать. Но вот вопрос: что будем делать?

– Ничего, – твердо ответил Динс. – Нести ниспосланное нам испытание. О, если бы Господь смилостивился и прибрал меня прежде, чем этот позор пал на мой дом! Но да свершится воля Его! Больше мне сказать нечего.

– Но вы все-таки наймете защитника бедняжке? – спросил Сэдлтри. – Без этого нельзя.

– Будь еще меж ними благочестивый человек, – сказал Динс. – А то сплошь стяжатели, вольнодумцы, эрастианцы, арминианцы – знаю я их!

– Полноте, сосед! Не так страшен черт, как его малюют, – сказал Сэдлтри. – Есть и среди адвокатов люди почтенные, то есть не хуже других, и благочестивые на свой лад.

– Вот именно, что на свой лад, – ответил Динс. – А какой их лад? Безбожники они, вот что! Их дело – пускать людям пыль в глаза, да трещать, да звонить, да учиться красноречию у язычников-римлян да у каноников-папистов. Взять хоть эту чепуху, что вы мне прочли; неужто нельзя этих несчастных ответчиков, раз уж они попали в руки адвокатов, называть христианскими именами? Нет, надо было назвать их в честь проклятого Тита, который сжег храм Господен, и еще каких-то язычников.

– Да не Тит, – прервал Сэдлтри, – а Титиус. Зачем же Тит? Мистер Кроссмайлуф тоже недолюбливает Тита и латынь. Так как же все-таки насчет адвоката? Хотите, я поговорю с мистером Кроссмайлуфом? Он примерный пресвитерианин и к тому же церковный староста.

– Отъявленный эрастианец, – ответил Динс. – По уши погряз в мирской суете. Вот такие-то и помешали торжеству правого дела.

– Ну а старый лэрд Кафэбаут? – сказал Сэдлтри. – Он вам вмиг распутает самое трудное дело.

– Этот изменник? – сказал Динс. – В тысяча семьсот пятнадцатом году он уже был готов примкнуть к горцам^[63] и только ждал, чтоб они переправились через Ферт.

– Ну, тогда Арнистон. Большой умница! – сказал Бартолайн, заранее торжествуя.

– Тоже хорош! Навез себе папистских медалек от еретички, герцогини Гордон.

– Надо ж, однако, кого-то выбрать. Что вы скажете о Китлпунте?

– Арминианец.

– Ну а Вудсеттер?

– А этот кокцеянец^[64].

– А старый Уилливау?

– Этот ни то ни се.

– А молодой Неммо?

– А этот вовсе ничто.

– На вас не угодишь, сосед, – сказал Сэдлтри. – Я перебрал самых лучших; теперь выбирайте сами. А то можно и нескольких – две головы лучше одной. Может, возьмем младшего Мак-Энни? Уж то-то красноречив! Не хуже своего дядюшки.

– И слышать не хочу! – гневно вскричал суровый пресвитерианин. – Не его ли руки обогреты кровью мучеников? Не этот ли самый дядюшка так и сошел в могилу с прозвищем Кровавый Мак-Энни? И будет известен под этим прозвищем, покуда жив на земле хоть один шотландец. Да если бы жизнь моего несчастного ребенка, и Джини, и моя в придачу, и всех людей зависела от этого слуги дьявола – и то Дэвид Динс не стал бы иметь с ним дела!

Последние слова, сказанные громко и возбужденно, были услышаны Батлером и Джини, которые поспешили вернуться в дом. Они застали бедного старика в исступлении от горя и от гнева, вызванного предложениями Сэдлтри; щеки его пылали, он сжимал кулаки и возвышал голос, но слезы в глазах и дрожь в голосе показывали, что он не в силах совладать со своим горем. Батлер, опасаясь следствий волнения для дряхлого, изнуренного тела, стал умолять его быть спокойным и терпеливым.

– Это я-то нетерпелив? – сурово отозвался старик. – Можно ли быть терпеливее в наше злосчастное время? Я не позволю ни еретикам, ни детям их, ни внукам учить меня на старости лет, как мне нести мой крест.

– Но ведь тут дело мирское, – сказал Батлер, не обижаясь на этот выпад против его деда. – Приглашая врача к больному, мы не спрашиваем, во что он верует.

– Не спрашиваем? – сказал Динс. – А я бы спросил. И если бы оказалось, что он не отличает правых ересей от левых, я не принял бы ни капли его лекарства.

Аналогия – опасная вещь. Батлер попробовал провести ее и потерпел неудачу, но, как доблестный солдат, у которого ружье дало осечку, не отступил, а перешел в штыки:

– Слишком узкое толкование, сэр. Солнце равно сияет для праведных и неправедных, и в жизни им неизбежно приходится общаться; быть может, именно для того, чтобы грешники могли быть обращены на путь истинный, а праведным это общение было бы испытанием.

– Ты еще молод и глуп, Рубен, – сказал Динс. – Можно ли прикоснуться к дегтю и не замараться? А как же защитники ковенанта? Они и слушать не хотели священника, будь он семи пядей во лбу, если он не обличал ересей. Не нужен мне адвокат, если он не принадлежит к потерпевшим за нашу возлюбленную церковь, пусть их осталось всего горсточка!

С этими словами, словно утомленный спорами и самим присутствием посторонних, старик поднялся и, простившись с ними движением руки, заперся в каморке, служившей ему спальней.

– Он губит дочь своим безумством, – сказал Сэдлтри Батлеру. – Где ж он найдет адвоката-камеронца? И где это слыхано, чтобы адвокат потерпел за веру? Так неужели же Эффи должна из-за этого погибать?..

В это время к дому подъехал Дамбидайкс; сойдя со своего пони, он накинул уздечку на крюк и уселся на обычном своем месте. Глаза его с необычным для них оживлением следили за собеседниками, пока, из последних слов Сэдлтри, он не уловил печального смысла всего сказанного. Он поднялся с места, медленно проковылял по комнате и, приблизившись к Сэдлтри, спросил с тревогой:

– Неужто и серебро им не поможет, мистер Сэдлтри?

– Серебро, пожалуй, помогло бы, – сказал Сэдлтри нахмурясь. – Да где его взять? Мистер Динс ничего не хочет делать, а моя жена, хоть она им родня и не прочь была бы помочь, не может за все платить одна, *singuli in solidum*. Если бы еще кто-нибудь вошел в долю, мы бы похлопотали. Если б еще кто-нибудь... Как же можно без защитника? Все берут защитника, что бы там ни говорил этот старый упрямец.

– Я... я, пожалуй, дам, – сказал Дамбидайкс, натужась, – фунтов двадцать. – И он умолк, пораженный собственной решимостью и неслыханной щедростью.

– Воздай вам Господь, лэрд! – сказала с благодарностью Джини.

– Так и быть, округлим до тридцати, – сказал Дамбидайкс и, застыдившись, отвернулся.

– Этого хватит за глаза, – сказал Сэдлтри, потирая руки. – А уж я присмотрю, чтобы деньги были потрачены с толком. Если взяться умеючи, можно и немного дать, а адвокат постарается. Посулить ему, например, еще два-три выгодных дела – он и не запросит. И что уж им так дорожить? Ведь берут за болтовню – а много ли она им стоит? Это вам не шорная лавка. Мы вот на одни только дубленые кожи не напасемся денег.

– Не могу ли я быть чем-нибудь полезен? – спросил Батлер. – Имуущества у меня – уввы! – один черный сюртук. Но я молод и многим обязан этой семье. Неужели для меня не найдется дела?

– Вы нам поможете найти свидетелей, – сказал Сэдлтри. – Если бы можно было доказать, что Эффи хоть кому-нибудь сообщила о своей беременности, она была бы спасена, – это мне сказал сам Кроссмайлуф. От защиты, говорит, не потребуется положительных – вот только не упомяну, положительных или отрицательных, да это не важно... Словом, обвинение будет считаться недоказанным, если защита докажет, что оно недоказуемо. Вот оно как! А иначе никак нельзя.

– Но самое рождение ребенка? – сказал Батлер. – Ведь и это суд должен доказать.

Сэдлтри помедлил, а лицо Дамбидайкса, которое он тревожно поворачивал то к одному собеседнику, то к другому, приняло торжествующее выражение.

– Да, конечно, – неохотно вымолвил Сэдлтри, – это тоже требует доказательства даже для предварительного постановления суда. Только на этот раз дело уже сделано: ведь она сама во всем призналась.

– Неужели в убийстве? – с воплем вырвалось у Джини.

– Этого я не говорил, – ответил Бартолайн. – Она призналась только, что родила.

– Где же тогда ребенок? – спросила Джини. – Я от нее ничего не добила, кроме горьких слез.

– Она показала, что ребенка унесла женщина, которая приютила ее на время родов и принимала у нее.

– Кто же эта женщина? – спросил Батлер. – Она могла бы открыть всю правду. Кто она? Я сейчас прямо к ней.

– Эх, зачем и я не молод, – сказал Дамбидайкс, – и не так проворен и речист!

– Кто же она? – повторил нетерпеливо Батлер. – Кто бы это мог быть?

– Это знает только Эффи, – сказал Сэдлтри. – Но она отказалась ее назвать.

– Тогда я бегу к Эффи, – сказал Батлер. – Прощай, Джини. – И, подойдя к ней, добавил: – Пока я не дам тебе знать, не предпринимай никаких опрометчивых шагов. Прощай же! – И он поспешно вышел.

– Я бы тоже поехал, – сказал помещик жалобно и с ревнивой досадой. – Да ведь мой пони знает одну дорогу: из дому сюда, а отсюда – опять домой.

– Будет больше толку, – сказал Сэдлтри, выходя с ним вместе, – если вы поскорее доставите мне ваши тридцать фунтов.

– Откуда тридцать? – сказал Дамбидайкс, уже не имея перед своим взором той, которая вдохновляла его на щедрость. – Я сказал – двадцать.

– Это вы сперва сказали, – напомнил Сэдлтри. – А потом вы внесли поправку в первоначальные показания, и вышло тридцать.

– Неужели? Что-то не помню, – ответил Дамбидайкс. – Но раз сказал – отступить не буду. – С трудом взгромоздившись на пони, он добавил: – А заметили вы, как хороши были глаза у бедной Джини, когда она плакала? Прямо как янтарь.

– Я по части женских глаз не знаток, лэрд, – сказал бесчувственный Бартолайн. – Мне бы только подальше от их языков. Впрочем, – добавил он, вспомнив о необходимости поддерживать свой престиж, – я-то свою жену держу в строгости. У меня – никаких бунтов против моей верховной власти.

Лэрд счел, что это заявление не требовало ответа. Обменявшись молчаливыми поклонами, они отправились каждый своей дорогой.

Глава XIII

*Ручаюсь, что он не потонет, будь этот корабль не прочнее
ореховой скорлупы...
«Буря»^{47[65]}*

Несмотря на бессонную ночь и на то, что он еще ничего не успел поесть, Батлер не ощущал ни усталости, ни голода. Всей душой стремясь помочь сестре Джини, он позабыл о собственных нуждах.

Он пошел очень быстро, почти бегом, как вдруг с удивлением услышал позади себя свое имя, громкое астматическое пыхтение и конский топот. Оглянувшись, он увидел лэрда Дамбидайкса, догонявшего его во всю прыть; к счастью для лэрда, им было отчасти по пути: дорога в его поместье совпадала поначалу с кратчайшим путем в город. Батлер остановился, услышав призывы, но мысленно проклял запыхавшегося всадника, который грозил задержать его.

– Ох, ох! – простонал Дамбидайкс, поравнявшись с Батлером и удерживая пони. – До чего ж упрямая скотина! – Он нагнал Батлера как раз вовремя и не сумел бы преследовать его дальше: дороги расходились, и ни уговоры, ни понукания не побороли бы кельтского упрямства Рори Бина (так звали пони) и не заставили бы его хоть на шаг отклониться от прямого пути в стойло.

Но даже отдышавшись после галопа, непривычного и для него и для Рори, Дамбидайкс не сразу обрел дар речи. Слова застряли у него в горле, так что Батлер ждал около него минуты три. Открыв наконец рот, лэрд сперва произнес только:

– Ох-хо-хо! Славная нынче погода для уборки, а, мистер Батлер?

– Отличная, – подтвердил Батлер. – Позвольте проститься с вами, сэр.

– Куда вы? Пойдите! – сказал Дамбидайкс. – Я не то хотел сказать.

– Так поторопитесь, прошу вас, и скажите, что вам угодно, – сказал Батлер. – Прошу извинить меня, но я спешу, а ведь *tempus nemini*⁴⁸, как гласит известная поговорка.

Дамбидайкс не знал этой поговорки и не потрудился притвориться, что знает, как сделал бы на его месте другой. Он в тот момент напрягал все силы своего ума, чтобы высказать важное соображение, и не мог отвлекаться пустяками.

– Я вот что хотел спросить, – сказал он. – Верно ли, что мистер Сэдлтри – сведущий юрист?

– Об этом я слышал только от него самого, – сухо ответил Батлер. – Но ему лучше знать.

– Гм! – откликнулся немногословный Дамбидайкс, как бы говоря: «Я понял вас, мистер Батлер». – Когда так, – продолжал он, – лучше уж я поручу это дело моему стряпчему Нихилу Новиту – это сын старого Нихила... умом в отца.

Обнаружив таким образом больше сообразительности, чем Батлер мог от него ожидать, он вежливо притронулся к своей шляпе с позументом и ткнул Рори Бина кулаком в ребра, давая ему понять, что хозяину угодно ехать домой, – приказ, которому животное повиновалось с тем проворством, какое всегда проявляют люди и животные, когда приказ полностью совпадает с их собственными желаниями.

Батлер поспешил дальше, на мгновение ощутив чувство ревности, которое не раз рождалось в нем при виде знаков внимания, оказываемых лэрдом семье Динса. Но природное великодушие не позволило ему долго предаваться этому эгоистическому чувству. «У него есть деньги, а у меня нет, – сказал себе Батлер. – Зачем же досадовать, если он благодаря своим

⁴⁷ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

⁴⁸ Время никого [не ждет] (*лат.*).

деньгам сделает для них то, о чем я могу только тщетно мечтать. Пусть каждый из нас сделает что может. Лишь бы она была счастлива и избавлена от горя и позора! Лишь бы найти средство предотвратить сегодняшнее ночное свидание – и я скажу «прости» всем другим мыслям, хотя бы сердце мое разорвалось при этом. . .»

Он еще ускорил шаг и вскоре оказался у ворот Толбута или, вернее, у входа, где прежде были ворота. Встреча с таинственным незнакомцем, поручение, данное им, волнующее объяснение с Джини и разговор со старым Динсом вытеснили из его памяти трагические события предыдущей ночи. Он не обратил внимания ни на кучки людей, которые перешептывались, но умолкали, завидя посторонних; ни на полицейские патрули и отряды солдат, рыскавшие по улицам; ни на усиленный караул перед казармами городской стражи; ни на присмиривших простолюдинов, которые, чувствуя, что находятся на подозрении, и понимая, что участникам мятежа непоздоровится, ходили угрюмые и пристыженные, словно с тяжелого похмелья, когда после буйной ночи все валится из рук и все представляется в мрачном свете.

Эти тревожные признаки ускользнули от внимания Батлера, занятого другими, более близкими ему заботами, пока он не оказался у входа в тюрьму, охранявшегося, вместо засовов, двойной цепью солдат. Окрик «Стой!», обугленные своды на месте ворот и выставленные напоказ внутренние помещения Толбута воскресили в его памяти всю богатую событиями минувшую ночь. Когда он попросил свидания с Эффи Динс, явился тот же высокий, сухопарый седой сторож, которого он видел накануне.

– Сдается мне, – ответил он на просьбу Батлера с истинно шотландской уклончивостью, – что ты еще вчера вечером просил с ней свидания.

Батлер ответил утвердительно.

– Помнится также, – продолжал привратник, – ты спрашивал, когда мы запираем ворота, и не запираем ли мы их раньше из-за Портеуса.

– Возможно, что я говорил что-нибудь подобное, – сказал Батлер. – Но как бы мне увидеть Эффи Динс?

– Не знаю, – ступай прямо, потом по лестнице, а там налево.

Старик пошел следом за Батлером со связкой ключей, в том числе и бесполезным теперь огромным ключом от наружных ворот его владений. Едва Батлер вошел в указанное ему помещение, как страж привычной рукой выбрал нужный ключ и запер дверь снаружи. Батлер сперва решил, что это лишь сила профессиональной привычки. Но когда он услышал хриплую команду «Выставить караул!» и немедленно вслед за этим – бряцание оружия часового, ставшего за дверью, он окликнул сторожа:

– Приятель! У меня важное дело к Эффи Динс. Как бы мне поскорее увидеть ее?

Ответа не было.

– Если свидания с ней не разрешены, – сказал Батлер громче, – так и скажите и выпустите меня. *Fugit irrevocabile tempus*⁴⁹, – прошептал он про себя.

– Если у тебя спешные дела, – ответил из-за двери человек с ключами, – надо было их делать, прежде чем ты пришел сюда. Сюда легче войти, чем выйти. Теперь не скоро удастся взломать ворота, – теперь такие пойдут строгости – ой-ой-ой! – испытаешь на собственной шкуре.

– Что это значит? – воскликнул Батлер. – Ты, верно, принял меня за другого. Я – Рубен Батлер, проповедник слова Божия.

– Это нам известно, – сказал страж.

– Раз ты знаешь меня, я вправе спросить, как всякий британский подданный, где предписание задержать меня?

⁴⁹ Бежит невозвратное время (*лат.*).

– Предписание? – сказал тюремщик. – Предписание отправлено к тебе в Либбертон с двумя полицейскими. Если бы ты сидел дома, как порядочные люди, тебе бы его предъявили. А ты взял да и сам, по своей охоте, явился в тюрьму.

– Я, значит, не могу видеть Эффи Динс? – спросил Батлер. – И ты не намерен выпустить меня?

– Нет, не намерен, – угрюмо сказал старик. – Нечего хлопотать об Эффи Динс, у тебя скоро своих хлопот будет много. А насчет того, чтобы тебя выпустить, это уж как решит судья. Прощай покуда! Мне надо приглядеть, как будут навешивать новые ворота вместо тех, что вчера выломали такие вот мирные люди – вроде тебя.

Все это было крайне нелепо, но вместе с тем и жутко. Оказаться в тюрьме, хотя бы и по ложному обвинению, это нечто тягостное и пугающее, даже для людей от природы более храбрых, чем Батлер. У него не было недостатка в решимости – в той решимости, которую человек обретает в честных стараниях выполнить свой долг; но при его впечатлительности и нервности он не мог обладать тем безразличием к опасности, которое является счастливым уделом людей более крепкого здоровья и меньшей нервной чувствительности. Им овладело смутное ощущение непонятной и неотвратимой опасности. Он пытался обдумать события прошедшей ночи, надеясь отыскать объяснение и оправдание своего присутствия среди мятежников, ибо быстро догадался, что его арест вызван именно этим. Он с тревогой вспомнил, что, когда он обращался к мятежникам с уговорами или с просьбами отпустить его, беспристрастных свидетелей при этом не было. Горе Динсов, опасное свидание, предстоявшее Джини, которому он был теперь не в силах помешать, также занимали немало места в его невеселых думках. Он нетерпеливо ждал, когда наконец получит разъяснения о причинах своего ареста и потребует освобождения; но когда, просидев час в одиночестве, он был вызван к судье, его охватила дрожь, не предвещавшая ничего доброго. Из тюрьмы его вывели под охраной целого отряда солдат, с запоздалыми и ненужными демонстративными предосторожностями, которые всегда принимаются после событий, а могли бы предотвратить их.

Его ввели в Зал совета, – как называется место заседаний магистрата, – который был в то время расположен неподалеку от тюрьмы. Там, за длинным зеленым столом, за которым обычно собирался совет, сидело несколько отцов города, занятых допросом какого-то человека. «Это тот самый проповедник?» – спросил один из судей, когда ввели Батлера. Человек отвечал утвердительно. «Пусть подождет; мы сейчас кончим».

– Прикажете пока увести мистера Батлера? – спросил полицейский.

– Не надо. Пусть посидит здесь.

Батлер сел на скамью у дальней стены, вместе с одним из стражников.

Комната была большая и плохо освещенная; случайно или намеренно, строитель расположил одно из окон так, чтобы сильный свет падал на допрашиваемого, а судейские места тонули во мраке. Батлер стал внимательно рассматривать допрашиваемого, думая узнать в нем одного из мятежников прошедшей ночи. Но, хотя черты его были достаточно примечательны, он не мог вспомнить, видел ли его раньше.

Это был смуглый, уже немолодой человек. На нем не было парика, и короткие волосы были зачесаны назад. Они были курчавы и черны как смоль, но местами уже седели. Лицо у неизвестного было скорее плутоватое, чем порочное, и выражало более хитрости и лукавства, нежели следы необузданных страстей. Его живые черные глаза, острые черты, насмешливая улыбка, находчивость и наглость показывали, что это парень, как говорится, не промах. На рынке или на ярмарке вы сочли бы его за плутоватого барышника, мастера на всякие проделки; но, повстречав его на пустынной дороге, вы вряд ли испугались бы, так как на разбойника он не походил. По платью он был также похож на лошадирика: оно состояло из застегнутого доверху жокейского кафтана с крупными металлическими пуговицами, синих валяных чулок,

заменявших обувь, и шляпы с полями. Для полноты картины недоставало только хлыста под мышкой и шпоры на одной ноге.

– Твое имя – Джеймс Рэтклиф? – спросил судья.

– Да, с дозволения вашей милости.

– А если я не позволю, ты тут же подыщешь себе другое?

– У меня их штук двадцать на выбор, опять-таки с дозволения вашей милости, – сказал допрашиваемый.

– Ну а сейчас ты – Джеймс Рэтклиф. Кто ты по ремеслу?

– Ремесла-то у меня, пожалуй, и нет.

– Чем занимаешься? Чем живешь? – повторил судья.

– А это вашей милости хорошо известно, – ответил допрашиваемый.

– Неважно, ты сам должен сказать, – заметил судья.

– Так прямо и сказать? Да еще кому? Вашей милости? У меня и язык-то не повернется!

– Будет тебе кривляться – отвечай!

– Ладно, – сказал допрашиваемый. – Все скажу, как на духу, недаром я надеюсь на помилование. Чем занимаюсь, спрашиваете? Это как-то даже неловко сказать, особенно здесь. Как там говорится в восьмой заповеди?

– «Не укради», – ответил судья.

– Это точно? – переспросил заключенный. – Ну, значит, мое ремесло с этой заповедью не в ладах. Я ее читал: «Укради». Большая разница, а всего ведь маленькое словечко пропущено...

– Попросту говоря, Рэтклиф, ты известный вор, – сказал судья.

– Думаю, сэр, что известен и в горной и в равнинной Шотландии, не говоря уж о Голландии и Англии, – ответил Рэтклиф с величайшим хладнокровием и бесстыдством.

– А чем думаешь кончить? – спросил судья.

– Вчера я бы сказал точно, а сегодня не знаю, – ответил заключенный.

– А если бы тебя спросили вчера, как бы ты ответил, чем думаешь кончить?

– Виселицей, – сказал Рэтклиф с тем же хладнокровием.

– Ты, однако ж, большой наглец, – сказал судья. – Отчего же сегодня ты надеешься на лучшее?

– Оттого, ваша милость, – сказал Рэтклиф, – что одно дело – сидеть в тюрьме по приговору, а другое – остаться там по своей охоте, когда ничего не стоило сбежать. Когда толпа уводила Джока Портеуса, я мог преспокойно выйти с нею вместе. Ведь не для того же я остался, ваша милость, чтобы меня повесили.

– Не знаю, для чего ты остался, – сказал судья, – а только по закону тебя полагается повесить ровно через неделю, в будущую среду.

– Нет, ваша милость, – твердо сказал Рэтклиф, – не во гнев будь сказано вашей милости. Никогда я этому не поверю, пока не увижу своими глазами. Я с законом не первый год знаком. Я с ним уже не раз дела делал. И должен сказать, что не так уж он страшен. Не бойся пса, который лает, бойся того, который кусает.

– Если ты не ждешь виселицы, хотя приговорен к ней, сколько мне известно, уже в четвертый раз, – сказал судья, – позволь полюбопытствовать: какой награды ты ждешь за то, что не сбежал вместе с другими, чего мы, по правде сказать, не ожидали?

– Помещение у вас сырое, прямо сказать – незавидное, – ответил Рэтклиф. – Но я уж как-то привык и за сходное жалованье, пожалуй, останусь.

– Жалованье? Сотню плетей – вот тебе жалованье.

– Как можно, ваша милость! Четыре раза приговаривался к виселице, и вдруг – плети! Разве это по мне?

– Какую же должность ты просишь?

– Помощника привратника, сэр. Она как раз свободна, как я слышал, – сказал заключенный. – Места палача я бы просить не стал. Неудобно на живое место, да я и не гожусь; мне скотину убить трудно, не то что человека.

– Это делает тебе честь, – сказал судья, делая именно тот вывод, к которому незаметно и шутивно вел его Рэтклиф. – Но как можно доверить тебе сторожить заключенных, когда ты ухитрился бежать из всех тюрем Шотландии?

– С дозволения вашей милости, – сказал Рэтклиф, – если я сам так ловко убегаю, значит, от меня может убежать только еще больший ловкач. Пусть кто хочет попробует удержать меня в тюрьме, когда я надумал убежать, или убежать от меня, когда я его сторожу.

Это соображение, видимо, поразило судью, но он ничего больше не сказал и велел увести Рэтклифа.

Когда смелого плута вывели из зала, судья спросил секретаря, как ему нравится такая наглость.

– Не смею давать вам советы, сэр, – ответил секретарь. – Но если Джеймс Рэтклиф решил обратиться на путь истинный, трудно найти во всем городе более подходящего человека на должность тюремщика. О нем надо бы доложить мистеру Шарпитло.

По уходе Рэтклифа Батлер занял его место у стола. Судья обратился к нему учтиво, но дал понять, что против него имеются веские улики. С чистосердечием, подобающим его сану и свойственным ему от природы, Батлер признал свое невольное присутствие при убийстве Портеуса и, по требованию судьи, изложил все подробности этого злополучного дела. Все эти подробности, уже сообщенные нами читателю, были тщательно записаны секретарем со слов Батлера.

После этого начался перекрестный допрос – процедура мучительная для самого чистосердечного свидетеля, ибо вряд ли кто сумеет рассказать, особенно о событиях волнующих и трагических, с такой ясностью, чтобы его нельзя было запутать придиричвыми и подробными расспросами.

Судья прежде всего отметил, что Батлер, по его собственным словам, возвращался в Либбертон, а между тем был остановлен толпою у Западных ворот.

– Вы всегда возвращаетесь в Либбертон через Западные ворота? – спросил насмешливо судья.

– Нет, разумеется, – ответил Батлер с поспешностью человека, который заботится о точности своих показаний. – Но я оказался ближе всего именно к этим воротам, а их уже вот-вот должны были запереть.

– Это неудачно для вас, – сухо сказал судья. – А теперь скажите: когда вы, повинувшись грубой силе, стали, как вы говорите, невольным свидетелем зрелищ, возмутительных для каждого гуманного человека, но в особенности для священника, неужели вы не попытались сопротивляться или убежать?

Батлер ответил, что численность мятежников не давала ему возможности сопротивляться, а неустанный их надзор не позволял убежать.

– Очень неудачно для вас, – повторил судья тем же сухим тоном. Все так же учтиво, но с явным недоверием к Батлеру он задал ему множество вопросов относительно поведения толпы и примет ее главарей. Желая застать Батлера врасплох, он неожиданно возвращался к его прежним показаниям и вновь требовал до мельчайших подробностей припомнить весь ход трагических событий. Однако ему не удалось заметить противоречий, которые подтверждали бы его подозрения. Наконец они дошли до Мэдж Уайлдфайр. При упоминании этого имени судья и секретарь обменялись многозначительными взглядами. Вопросы дотошного судьи о ее внешности и одежде были так подробны, словно от них зависела участь Славного Города. Но Батлер почти ничего не мог сказать о ее чертах, ибо лицо предполагаемой женщины было вымазано сажей и красной краской, наподобие боевой раскраски индейцев, и, кроме того, наполовину

скрыто чепцом. Он сказал, что вряд ли узнал бы Мэдж, если б увидел ее в другой одежде, но, вероятно, узнал бы ее по голосу.

Судья снова спросил, через какие ворота он вышел из города во второй раз.

– Через Каугейтские ворота, – ответил Батлер.

– Это, по-вашему, кратчайший путь в Либбертон?

– Нет, – ответил смущенно Батлер, – но это был кратчайший способ выбраться из толпы.

Секретарь и судья снова переглянулись.

– Разве от Грассмаркета скорее дойдешь в Либбертон через Каугейтские ворота, чем через Бристо-порт?

– Нет, – ответил Батлер, – но мне надо было навестить друзей в Сент-Леонарде.

– Вот как? – сказал судья. – Вы спешили рассказать о том, что видели?

– О нет, – сказал Батлер, – об этом я ни с кем там не говорил.

– А какой дорогой вы шли в Сент-Леонард?

– Вокруг Солсберийских утесов.

– У вас, однако, пристрастие к окольным дорогам, – сказал судья. – С кем же вы встретились, когда вышли из города?

Так он добился подробного описания всех групп, попавшихся Батлеру по дороге, их численности, внешнего вида и поведения. Дошла очередь и до таинственного незнакомца в Королевском парке. О нем Батлер предпочел бы умолчать. Но едва лишь судья услышал об этой встрече, как потребовал от него всех подробностей.

– Послушайте-ка, мистер Батлер, – сказал он, – вы молоды и ничем не опорочены, это я знаю. Но нам известно, что немало людей вашего звания, во всем ином безупречных, увлечено ложными и опасными идеями, ведущими к потрясению государственного порядка. Буду говорить с вами напрямик. Ну, кто поверит, что вы стремились попасть домой, а между тем дважды выбрали самый длинный путь? Должен вам сказать, что никто из тех, кого мы допросили по этому злополучному делу, не показал, что вы действовали по принуждению. А сторожа у Каугейтских ворот показали даже, что вы очень смахивали на участника мятежа и первый велели им отпереть ворота таким властным тоном, словно еще командовали отрядами, которые осаждали их ночью.

– Бог им прости! – сказал Батлер. – Я всего лишь просил пропустить меня без задержки. Они, должно быть, не поняли меня, если только не хотели опорочить намеренно.

– Что ж, мистер Батлер, – заключил судья, – постараюсь толковать все это благоприятно для вас; но если хотите хорошего к себе отношения, будьте откровенны. Вы говорите, что встретили еще одного человека на пути в Сент-Леонард. Мне надо знать весь ваш разговор с ним, от слова до слова.

Прижатый к стене, Батлер, у которого не было причин скрывать свой разговор с незнакомцем, разве только нежелание называть Джини, счел за благо рассказать все, как было.

– И вы полагаете, – спросил судья, помолчав, – что девушка пойдет на это таинственное свидание?

– Боюсь, что да, – ответил Батлер.

– Почему вы говорите – «боюсь»? – спросил судья.

– Потому, что опасаясь за нее: встретиться в такой час и в таком месте с человеком столь подозрительным и окруженным такой тайной...

– Об ее безопасности мы позаботимся, – сказал судья. – А вас, мистер Батлер, я, к сожалению, еще не могу освободить, но надеюсь, что это не замедлит. Уведите мистера Батлера и позаботьтесь о его удобствах.

Батлера отвели обратно в тюрьму; но во всем, что касалось помещения и обеда, предложенных ему, распоряжение судьи было выполнено в точности.

Глава XIV

*Безлюден был далекий путь
И ночь была темна,
Когда Дженет ушла в Майлз-кросс,
Ушла совсем одна.*

Старинная баллада

Предоставим Батлера его новому положению и печальным думам, из которых самой тягостной была мысль, что заключение мешает ему помочь Динсам в тяжелое для них время, и вернемся к Джини, которая рассталась с ним, не сумев объясниться до конца, и испытывала всю ту муку, с какой женщина прощается с мечтами и надеждами, столь поэтически описанными Колриджем^[66]:

Желаний, страхов и надежд
Неясный, робкий хор,
Хор приглушенных тайных дум,
Заветных с давних пор.

Не следует думать, что мужественное сердце (а у Джини под домотканой одеждой билось сердце, достойное дочери Катона) легче расстается с этими разнообразными и нежными чувствами. Сперва Джини зарыдала горько и не пыталась удерживаться. Но уже через несколько минут, вспомнив о сестре и отце, погруженных в глубочайшее горе, она упрекнула себя за эти себялюбивые слезы. Она вынула из кармана письмо, брошенное утром в ее открытое окно и столь же странное по содержанию, сколь решительное по выражениям. Если она хочет спасти человека от тягчайшего греха и всех его ужасных последствий, если хочет спасти жизнь и честь своей сестры из кровавых когтей несправедливого закона, если не хочет утратить покой на этом свете и блаженство за гробом, – так начиналось это безумное послание, – пусть встретится с автором письма наедине и в пустынном месте... Только она может спасти его, – говорилось далее, – и он один может спасти ее. Он находится в таком положении, что если она попытается привести кого-нибудь на это свидание или хотя бы сообщить о письме отцу или кому-либо другому, свидание не сможет состояться, а сестра ее неминуемо погибнет. Письмо кончалось бессвязными, но пламенными заверениями, что ей лично свидание не грозит никакой опасностью.

Поручение, переданное Батлером от незнакомца в парке, в точности совпадало с содержанием письма, но для свидания назначался более поздний час и другое место. Видимо, из-за необходимости известить Джини об этих переменах автор письма вынужден был отчасти довериться Батлеру. Не раз хотелось ей показать письмо своему возлюбленному, чтобы оправдаться перед ним и рассеять его полувывысканные подозрения. Но тот, кто гордо сознает свою невиновность, неохотно унижается до оправданий; кроме того, ее пугали содержавшиеся в письме угрозы и требование строжайшей тайны. Все же она, вероятно, решилась бы открыться Батлеру и спросила у него совета, как ей поступить, если бы они дольше оставались наедине. Но их прервали, прежде чем она успела это сделать, и она чувствовала, что несправедливо обидела друга, который был бы ей весьма полезным советчиком и заслуживал полного доверия.

Обратиться в подобном случае к отцу казалось ей крайне неосторожным. Трудно было предвидеть, как он отнесется ко всему этому: в важных случаях старый Дэвид руководство

вался собственными правилами, и поступки его оказывались неожиданными даже для его близких. Лучше всего, быть может, было бы взять с собой на свидание кого-нибудь из друзей. Однако угрозы автора письма, уверявшего, что свидание, решавшее участь ее сестры, возможно лишь при полной тайне, и тут остановили бы ее, если бы она даже и знала такую, на которую можно было положиться. Но таких друзей у нее не было. Знакомство ее с соседками ограничивалось мелкими взаимными услугами. Джини мало знала их, а то, что она знала, не слишком располагало ее к доверию. Это были обычные добродушные и болтливые деревенские кумушки, общество их не привлекало девушку, которую природа и одиночество наделили глубиной мысли и силою характера, необычными для большинства женщин любого сословия.

Предоставленная самой себе и лишённая совета людей, Джини прибегла к тому другу и советчику, который всегда внимлет мольбе страждущих и обездоленных. Она опустилась на колени и горячо и искренне помолилась, чтобы Господь указал ей верный выход из трудного положения.

Согласно верованиям своего времени и своей секты, она полагала, что в тяжелую минуту молящийся может получить прямой ответ и ощутить как бы вдохновение свыше. Не вдаваясь в богословские прения, мы можем сказать, что одно тут, во всяком случае, верно: искренне излагающая терзающие его сомнения, молящийся тем самым очищает душу от накипи земных страстей и корысти и приводит ее в то состояние, когда решение подсказывается прежде всего чувством долга, а не изменными побуждениями. Помолвившись, Джини ощутила в себе больше стойкости и готовности подвергнуться опасностям и испытаниям.

– Надо повидаться с этим несчастным, – сказала она себе, – несчастным, ибо я подозреваю в нем виновника несчастья бедной Эффи. Будь что будет, а я с ним увижусь. Иначе я вечно буду упрекать себя, что из себялюбивого страха не все сделала для ее спасения.

Приняв это решение и почувствовав себя гораздо спокойнее, она пошла помогать отцу. Верный принципам, усвоенным с юности, старик не допускал, по крайней мере внешне, чтобы семейное несчастье нарушало его обычное суровое спокойствие. Он даже попенял дочери на некоторые упущения в хозяйстве.

– Что ж это, Джини? – сказал старик. – Молоко от бурой четырехлетки не процежено, крынки не высушены... Если горе заставляет тебя пренебречь ежедневными обязанностями хозяйства, как могу я надеяться, что ты позаботишься о спасении души? Ведь все эти крынки, да горшки, да сливки, да хлебы – увьи! – дороже нам, чем пища духовная.

Довольная тем, что мысли отца отвлеклись от его несчастья, Джини повиновалась и принялась за хозяйственные хлопоты. Старый Дэвид тоже взялся за обычные дела и ничем не выдавал своего тяжкого горя – разве только изредка подавлял судорожный вздох и не мог долго оставаться на одном месте.

Наступил полдень; отец и дочь сели за свою скромную трапезу. Произнося предобеденную молитву, бедный старик добавил к ней мольбу, чтобы хлеб, вкушаемый в скорбях, и горькая вода Мары напитали их так же, как чаша благодарения. Призвав благословение на пищу и снова надев головной убор, который он перед тем почтительно снял, он стал убеждать дочь поесть, хотя сам не мог подать ей пример.

– Богу угодно, – сказал он, – чтобы человек и в горести совершал омовения и вкушал пищу, показывая тем свое смирение перед ниспосланным испытанием. Христианину и христианке не пристало ради привязанностей к спутнику жизни или детям, – тут голос его прервался, – забывать о первом своем долге: смирении перед волей Господней.

Чтобы показать пример, он положил кусок себе на тарелку, но есть не мог: природа взяла верх над принципами, которыми он пытался обуздать ее. Устыдившись своей слабости, он встал и вышел из дому с поспешностью, весьма непохожей на его обычные размеренные движения. Спустя несколько минут он усилием воли обрел присущее ему спокойствие, вернулся и

попытался оправдать свое бегство, пробормотав, что ему послышалось, будто «бычок сорвался с привязи».

Он не решился более вернуться к предмету их разговора, и дочь с облегчением увидела, что он избегает касаться мучительной для него темы. Между тем часы текли, как они текут всегда – окрыленные счастьем или отягощенные горем. Солнце село за темной громадой крепости и грядой западных холмов, и Дэвид Динс с дочерью приготовились к вечерней молитве. Джини с горечью вспомнила, как часто при приближении этого часа она выходила на порог, поджидая сестру. Увы! Вот к чему привели беззаботность и праздные прогулки! И разве нет тут доли ее вины? Заметив, что Эффи пристрастилась к развлечениям, зачем не прибегла она к отцовской власти и не удержала ее? «Но мне казалось, что так лучше, – подумала она. – Кто мог ожидать, чтоб от одного плевела, зароненного в эту чистую и невинную душу, могло произрасти столько зла?»

Готовясь приступить к «духовным упражнениям», как это называется у пресвитериан, Динс увидел, что глаза дочери остановились на пустом стуле, где обычно сидела Эффи, и налились слезами. Он нетерпеливо отодвинул стул, как бы отстраняя все земные помыслы, прежде чем обратиться к Богу. Они прочли главу из Писания, пропели псалом, произнесли молитву; при этом старик избегал всех мест, столь многочисленных в Писании, которые могли относиться к их горю. Он, видимо, щадил чувства дочери, а кроме того, стремился сохранить, хотя бы внешне, стоическое равнодушие к земным горестям, обязательное по его понятиям, для того, кто знал ничтожность всего земного.

По окончании вечерней молитвы он подошел к дочери, пожелал ей покойной ночи и задержал ее руки в своих; затем привлек ее к себе, поцеловал в лоб и произнес:

– Бог Израиля да благословит тебя благословением обетования, милое дитя мое!

Отецеская нежность была не в характере и не в обычаях Дэвида Динса, он не часто испытывал и, во всяком случае, не часто обнаруживал, даже к самым близким ему людям, ту полноту чувств, которая ищет выражения в нежных словах и ласках. Напротив, он порицал подобные излишества как слабость. Особенно доставалось от него за это бедной вдове Батлер. Но именно потому, что порывы нежности были крайне редки у этого сурового и сдержанного человека, дети его особенно ценили скупые похвалы и ласки отца, справедливо видя в них знаки сильных, переполняющих его чувств.

Вот почему Джини с глубоким умилением приняла взволнованное родительское благословение и ласку. «А тебе, милый отец, – воскликнула она, когда дверь за почтенным стариком закрылась, – да ниспошлет Господь благодать; да пошлет Он покой высокому духу твоему! Ты и в миру живешь словно не от мира сего, и все мирское для тебя – не более чем мошки-однодневки, которых уносит вечерним ветром».

Она начала готовиться к своему ночному походу.

Отец ее спал в другой части дома и, верный своим привычкам, никогда почти не выходил оттуда с вечера до утра. Поэтому ей легко было в назначенный час выйти из дома незамеченной. Но, не боясь вмешательства отца, Джини все же дрожала перед шагом, который собиралась предпринять. Жизнь ее в этом строгом и мирном доме текла до тех пор уединенно, спокойно и размеренно. Самый час, который для многих нынешних девиц – как, впрочем, и для ее современниц из высшего круга – означал начало обычных вечерних забав, для нее был полон устрашающей торжественности. Теперь, когда близился час его осуществления, решение ее казалось ей безрассудным. Она дрожащими руками перевязала свои светлые волосы лентой – единственным украшением и головным убором тогдашних девушек – и накинула красный плед, в который шотландские женщины кутались на манер черных шелковых мантилий, до сих пор принятых у женщин Нидерландов. Отодвигая засов, она чувствовала, что, уходя из отцовского дома в такой час, одна и без ведома своего законного покровителя, она решается на нечто не только опасное, но и не подобающее ее скромности.

Выйдя в открытое поле, она испытала новые страхи. Смутно видимые утесы и разбросанные по зеленому лугу обломки скал, между которых лежал ее путь в эту светлую осеннюю ночь, вызвали в ее памяти многие кровавые дела, совершенные, по преданию, в этих самых местах. Некогда они служили приютом разбойникам, как видно из указов магистрата и даже шотландского парламента, которые неоднократно постановляли истребить разбойничьи шайки, угрожавшие мирным жителям под самыми стенами столицы. Имена этих разбойников и повести об их злодеяниях еще хранились в памяти окрестного населения. Позднее, как уже говорилось, эта безлюдная местность, изобиловавшая укромными уголками, стала излюбленным местом встречи дуэлянтов. С тех пор как Динсы поселились в Сент-Леонарде, таких дуэлей состоялось уже несколько, и одна – со смертельным исходом. Мысли Джини были полны этими ужасами, а каждый шаг по пустынной, едва приметной тропе уводил ее все дальше от людей, в глубь этих зловещих мест.

Когда они озарились неверным, зыбким и таинственным светом луны, мысли Джини приняли иное направление, столь характерное для тогдашних нравов, что мы решаемся посвятить этому особую главу.

Глава XV

*Дух, представивший мне,
Быть может, был и дьявол; дьявол властен
Облечься в милый образ.*

«Гамлет»^{50/671}

Как мы уже говорили, вера в колдунов, ведьм и нечистую силу была в ту пору чрезвычайно распространена во всех сословиях общества, но особенно среди строгих пресвитериан, которые во время своего пребывания у власти запятнали себя преследованиями этих мнимых преступлений. В этом отношении утесы Сент-Леонарда и прилегавшая к ним роща также пользовались дурной славой. Некогда ведьмы справляли здесь свой шабаш, а еще совсем недавно фантазер или шарлатан, упоминаемый в «Пандемониуме» Ричарда Бовета^[68], джентльмена, отыскал в этих романтических скалах расселину, через которую проник в подземное обиталище фей.

Со всеми этими поверьями Джини Динс была так хорошо знакома, что они оставили глубокий след в ее воображении. Она знала их с детства, ибо они были единственной темой, которой отец ее разнообразил богословские споры и мрачные повествования о непреклонности и бесстрашии, о поимках и побегах, пытках и казнях мучеников ковенанта, чьей дружбой он так гордился. В горных ущельях, пещерах и лесных чащобах, где приверженцы ковенанта спасались от безжалостных гонителей, им часто являлся в зримом образе враг рода человеческого, с которым им приходилось биться, как в городах они бились с войсками правительства. Кто-то из этих праведников, пробыв некоторое время один в пещере Сорн в Гэллоуэе, сказал подоспевшему спутнику своих скитаний: «Трудно жить на этом свете. Дьяволы в образе человеческого преследуют нас на земле, и дьяволы – под землю. Сейчас здесь побывал сам сатана, но я от него отбил. Сегодня он нас больше не потревожит». Об этой и о многих других победах над духом тьмы Дэвид рассказывал со слов ансамбов, учеников изгнанных пророков^[69]. Сам он этого помнить не мог. Но он часто рассказывал, с должным трепетом и вместе с явным снисхождением к неопытности слушателей, о другом случае, которого сам был очевидцем: как однажды во время молитвенного собрания в Крохмейде, происходившего на лугу, какой-то высокий черномазый человек захотел перейти реку вброд, по-видимому, чтобы присоединиться к молящимся, но оступился и был увлечен течением. Все кинулись к нему на помощь, но – удивительное дело – десяток дюжих мужчин, тянувших за веревку, которую они бросили утопающему, сами едва не свалились в воду. «Тут славный Джон Семпл из Карсфарна, – восторженно рассказывал Дэвид, – разгадал в чем дело. «Отпустите веревку! – крикнул он нам (я тогда был мальчишкой, но тоже тянул вместе с другими). – Ведь это враг рода человеческого! Он горит, а в воде не тонет. Это он хочет смутить вас и отвлечь от молитвы». Мы отпустили веревку, и черномазый поплыл по течению и при этом ревел, точно бык васанский^[70]

⁵⁰ Перевод М. Лозинского.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

«Эдинбургская темница» – третий из романов, напечатанных Скоттом в серии, которую он назвал «Рассказы трактирщика». Кроме этого произведения в серию вошли романы «Черный карлик», «Пуритане» (1816), «Ламермурская невеста», «Легенда о Монтрозе» (1819). Роман был написан в 1818 г., спустя всего восемь месяцев после «Роб Роя». Он относится к числу так называемых «шотландских» романов Вальтера Скотта, события в которых происходят в эпоху англо-шотландской смуты – длительного исторического процесса слияния Англии и Шотландии в одно объединенное королевство (со времен английской буржуазной революции 1640–1660 гг. и вплоть до конца XVIII в.).

2.

Филдинг Генри (1707–1754) – английский романист и драматург.

3.

«Том Джонс» («История Тома Джонса, найденыша», 1749) – наиболее значительное произведение Филдинга.

4.

Фаркер Джордж (1678–1707) – английский драматург.

5.

Медью и стуком хотел заменить рогагогих он коней! – Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.). «Энеида».

6.

Салмоней – герой греческой мифологии, который пытался подражать Зевсу, имитируя гром грохотом котлов и лязгом колесниц, а молнию – блеском факелов. За дерзость был убит Зевсом.

7.

...колесницами мистера Палмера... – По проекту Джона Палмера (1742–1818) в Шотландии в 1786 г. были введены почтовые кареты, ускорившие доставку почты и пассажиров.

8.

Каупер Уильям (1731–1800) – английский поэт и сатирик, переводчик Гомера.

9.

...подобно спутникам Энея... – Эней – один из героев Троянской войны. Странствуя после падения Трои, Эней и его спутники добрались до Тибра и на берегу его основали город Лавинию, положив начало римскому государству. Подвиги Энея воспеты Вергилием в поэме «Энеида», строка из которой цитируется Скоттом.

10.

Каули Абрахам (1618–1667) – английский поэт.

11.

Аддисон Джозеф (1672–1719); Стиль Ричард (1672–1729) – английские просветители, писатели-классицисты, положившие начало английской журналистике изданием нравоописательных журналов «Болтун», «Зритель» и др.

12.

Крабб Джордж (1754–1832) – английский поэт, автор популярных в XIX в. поэм: «Приходские списки», «Местечко» и др. В своих поэмах Крабб сочувственно описывал жизнь разоряемой английской деревни.

13.

Далила – возлюбленная легендарного иудейского силача Самсона, отрезавшая ему ночью волосы, в которых заключалась вся его богатырская сила, после чего выдала его филистимлянам (Библия).

14.

Как шекспировский Пистоль, когда он ел свой порей... – Пистоль – персонаж из пьес Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы», всюду следующий за Фальстафом. Когда Фальстаф бедствовал, Пистоль должен был питаться ненавистным ему пореем и обходиться без вина.

15.

Шотландский парламент – возник в XIII в.; состоял из одной палаты; представительство в нем было сословным. После «слияния корон», или «личной унии» (король Шотландии Иаков VI в 1603 г. занял английский престол под именем Иакова I), права шотландского парламента были ограничены, а в 1707 г. он был слит с английским парламентом, чем юридически завершилась узурпация Шотландии Англией в форме так называемой унии.

16.

Иаков I (1567–1625) – сын Марии Стюарт, король Шотландии, затем и Англии (см. выше), в детстве скрывавшийся от антиабсолютистски настроенной феодальной знати.

17.

Гедеон – израильский судья и полководец, освободивший свой народ от ига мадианитян (Библия); меч Гедеона – символ правосудия.

18.

Аман – вельможа персидского царя Артаксеркса, склонивший царя подписать закон о поголовном истреблении евреев; по просьбе возлюбленной царя Эсфири был предан смертной казни через повешение.

19.

Прайор Мэтью (1664–1721) – английский поэт и дипломат.

20.

Фергюсон Роберт (1750–1774) – шотландский поэт, в своем творчестве широко использовавший мотивы родного фольклора. Роберт Бёрнс считал его своим предшественником в поэзии.

21.

... подобно Гонерилье и Регане... – Гонерилья и Регана – неблагодарные старшие дочери короля из трагедии Шекспира «Король Лир». Они отказали престарелому отцу в крове и в последнем его желании – сохранить сто рыцарей для личных услуг.

22.

Кэй Джон (1724–1826) – шотландский художник-карикатурист, изображавший быт и нравы города Эдинбурга.

23.

Во времена наших отцов, живших в постоянном страхе перед якобитскими заговорами... – Имеются в виду многочисленные заговоры приверженцев короля Иакова II, консерватора и поборника католицизма, в 1688 г. изгнанного из Англии. Якобиты стремились вернуть феодальные порядки, а католицизм снова сделать господствующей религией. Потерпев поражение в двух восстаниях – 1715 и 1745 гг., – якобиты как партия перестали существовать.

24.

Камеронцы – сторонники учения Ричарда Камерона (1648–1680), шотландского проповедника, основателя пресвитерианской секты, непримиримой по отношению к англиканской церкви и отрицавшей авторитет короля в вопросах веры. В своих проповедях Камерон требовал демократизации церкви, чем неоднократно навлекал на себя преследования правительства; погиб с оружием в руках во время восстания пуритан против роялистов.

25.

Ковенант – соглашение. Этот термин был введен в 1558 г., когда руководители Реформации связали себя клятвой сопротивляться евангелическому движению в Шотландии. В 1581 г. шотландские пресвитериане на Генеральном собрании церкви приняли второй ковенант – Национальный ковенант, или Исповедание веры, которым осуждали епископальную церковь и церковную иерархию. Национальный ковенант неоднократно возобновлялся и подписывался. Его подписал при восшествии на престол и Карл II, однако впоследствии он отказался от своей клятвы и обрушил на пресвитериан жестокие преследования.

26.

Король Джеми – добрый король, персонаж английских баллад и шуточных песен.

27.

Уоллес Уильям (1272–1305) – шотландский национальный герой.

28.

Институции Юстиниана – свод римского права, составленный по указанию императора Юстиниана в 529 г., один из важнейших памятников римской юриспруденции.

29.

... стоит железная башня до неба... – Вергилий. Энеида.

30.

... я превзойду своих учителей. – Шекспир. Венецианский купец (акт III, сц. 1).

31.

Монк Джордж (1608–1670) – английский генерал, активно содействовавший реставрации в 1660 г. династии Стюартов (в лице Карла II), потерявшей английский престол в результате английской буржуазной революции 1640–1660 гг.

32.

Индепенденты (независимые) – политическая партия наиболее радикально настроенной части английской буржуазии, на которую опирался Оливер Кромвель – вождь английской буржуазной революции 1640–1660 гг. Казнив короля Карла I и провозгласив республику, Индепенденты, однако, тщательно оберегали интересы буржуазии и жестоко подавляли все демократические движения того времени.

33.

Гораций Флакк Квинт (65–8 до н. э.) – крупнейший римский поэт.

34.

...библейское название «Вирсавия»... – Вирсавия – упоминаемый в Библии город, где поселился Исаак – сын родоначальника еврейского народа Авраама. Батлер Книжник, большой знаток Библии, дал приобретенной им ферме это библейское название, подчеркивая тем самым, что для него началась новая жизнь после того, как он оставил полк и осел на землях Далкейта.

35.

Мильтон Джон (1608–1674) – великий английский поэт, участник английской буржуазной революции 1640–1660 гг.; одним из первых потребовал казни Карла I. Его поэмы «Потерянный рай» (1665) и «Возвращенный рай» (1671) – великий революционный эпос английского народа.

36.

...вдовы старого солдата Республики. – Имеется в виду английская республика, провозглашенная в январе 1649 г. после казни короля Карла I Стюарта. Республика просуществовала до 1653 г.

37.

...разбивая резные алтари нашего Сиона... – Динс хочет сказать, что английский король вероломно нарушил свое обещание уважать права шотландской церкви, превратив подписанный ковенант в пустую бумажку.

38.

«Георгики» – поэма Вергилия, в которой он описывает сельскохозяйственные работы.

39.

Колумелла Луций Юний Модерат – римский писатель и агроном I в. В трудах «О сельском хозяйстве» (в 12 книгах), в частности, указывал на непроизводительность труда рабов и предлагал перевести их на долгосрочную аренду.

40.

Катон Марк Порций, прозванный Старшим (234–149 до н. э.), – римский консул и цензор, автор сочинения «Земледелие» – важного источника истории экономики Рима.

41.

...могильщик был прав: сколько осла ни погоняй, он шибче не пойдет... – слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

42.

Педен Александр (Сондерс; 1626–1686) – ковенантер, один из проповедников пресвитерианской церкви.

43.

Анабаптизм – плебейское течение Реформации, отрицавшее церковную иерархию и требовавшее общности имущества. Анабаптисты сыграли значительную роль в Крестьянской войне 1525 г.

44.

Со мною было как с достойным Джоном Семплом... – В. Скотт вкладывает в уста Динса историю о Джоне Семпле, пресвитерианском проповеднике, зафиксированную, по свидетельству самого Скотта, в книге Патрика Уокера «Поучительные заметки о жизни и смерти мистера Джона Семпла».

45.

Артурово Седло – гора близ Эдинбурга. Вершина ее по форме напоминает седло. По преданию, король Артур, герой народных легенд и большого количества средневековых рыцарских романов, обозревал с этой горы местность, где разбил затем неприятеля.

46.

...нечестивица, которая получила за свои пляски главу святого Иоанна Крестителя. – Динс имеет в виду евангельский рассказ о Саломее, дочери Иродиады, которая угодила царю Ироду своими танцами и в виде награды попросила голову пророка Иоанна Крестителя.

47.

Ваал – один из главных богов древней Финикии, Сирии и Палестины, которому приносились человеческие жертвы.

48.

...терпимости, патроната и эрастианской присяги, навязанных церкви после революции... – Имеются в виду юридические акты, с помощью которых английское правительство оформило захват Шотландии: терпимость – веротерпимость, провозглашавшаяся в целях уничтожения привилегий пресвитерианства; патронат – контроль старшей англиканской церкви над шотландской пресвитерианской; эрастианская присяга – подчинение церкви государству согласно учению Томаса Эраста (1524–1583).

49.

...последней из злополучного рода Стюартов. – После смерти королевы Анны (1702–1714) английский престол перешел к Ганноверской династии – княжеской династии небольшого немецкого государства, одной из ветвей королевского дома Брауншвейгов.

50.

Генеральное собрание церкви – впервые было созвано в Шотландии в XVI в. Затем оно приняло форму регулярно собиравшегося законодательного и даже исполнительного органа

не только духовной, но и светской власти; являлось, по существу, вторым парламентом в Шотландии.

51.

...ужели все забыто? – Шекспир. Сон в летнюю ночь (акт III, сц. 2).

52.

...все красноречие Туллия... – В. Скотт имеет в виду великого римского оратора, философа и государственного деятеля Марка Туллия Цицерона (106–43 до н. э.).

53.

Аполлион – злой дух, который якобы должен явиться вместе с антихристом, чтобы сеять смерть и разрушение.

54.

Абаддонна (Аваддон) – черный ангел из геенны огненной; в Библии употребляется в смысле смерти, преисподней, падшего ангела (сатаны).

55.

Лев Рыкающий – то есть сатана.

56.

...кто в 1686 году отдал жизнь за веру... – Имеется в виду жестоко подавленное восстание шотландских пуритан, возглавленное незаконным сыном Карла II герцогом Монмутом и направленное против реакционных устремлений вступившего в 1685 г. на престол «католического короля» Иакова II, брата Карла II.

57.

Саути Роберт (1774–1843) – английский поэт-романтик.

58.

Иероним из Праги (1365–1416) – единомышленник Яна Гуса; сожжен на костре в Констанце в 1416 г.

59.

Велиал – библейское имя, олицетворяющее зло и беззаконие. Пуритане стали так называть сатану. Людей, нарушающих светские законы и заветы церкви, они называли сынами Велиала.

60.

Курульное кресло – на нем восседали представители высшей власти Древнего Рима во время исполнения ими своих обязанностей.

61.

Ларошфуко Франсуа (1613–1680) – французский писатель-моралист; один из вождей Фронды – антиабсолютистского движения во Франции.

62.

...столпы и строители нашего Сиона... – Динс говорит о своих единомышленниках, сторонниках шотландской церкви.

63.

В тысяча семьсот пятнадцатом году он уже был готов примкнуть к горцам... – Динс имеет в виду якобитское восстание, в котором принимали участие и кланы горной Шотландии, обманутые своими вождями и феодальной знатью, мечтавшей о реставрации феодальной монархии и церкви, уничтоженных буржуазной революцией 1640–1660 гг. (см. роман «Роб Рой»).

64.

Кокцеянец – сторонник учения немецкого богослова Кокцеюса (1603–1669), в трудах которого проводятся мысли, весьма близкие к учению Кальвина.

65.

...не прочнее ореховой скорлупы... – Шекспир. Буря (акт I, сц. 1).

66.

Колридж Сэмюел Тэйлор (1772–1834) – английский поэт-романтик; примыкал к так называемой Озерной школе.

67.

...Облечься в милый образ. – Шекспир. Гамлет (акт II, сц. 2).

68.

«Пандемониум» – книга Ричарда Бовета о классификации ведьм, чертей, демонов и т. п. В. Скотт иронически относится к подобной литературе. Веру в нечистую силу он объясняет исключительно суеверием, которое глубоко укоренилось в ту эпоху в сознании людей.

69.

...со слов ансаров, учеников изгнанных пророков... – то есть последователей Р. Камерона и его гонимых учеников.

70.

Бык васанский. – Васан – обширная область к востоку от реки Иордан. Васан славился скотоводством. В Библии говорится о красоте васанских коров и о силе могучих васанских быков.